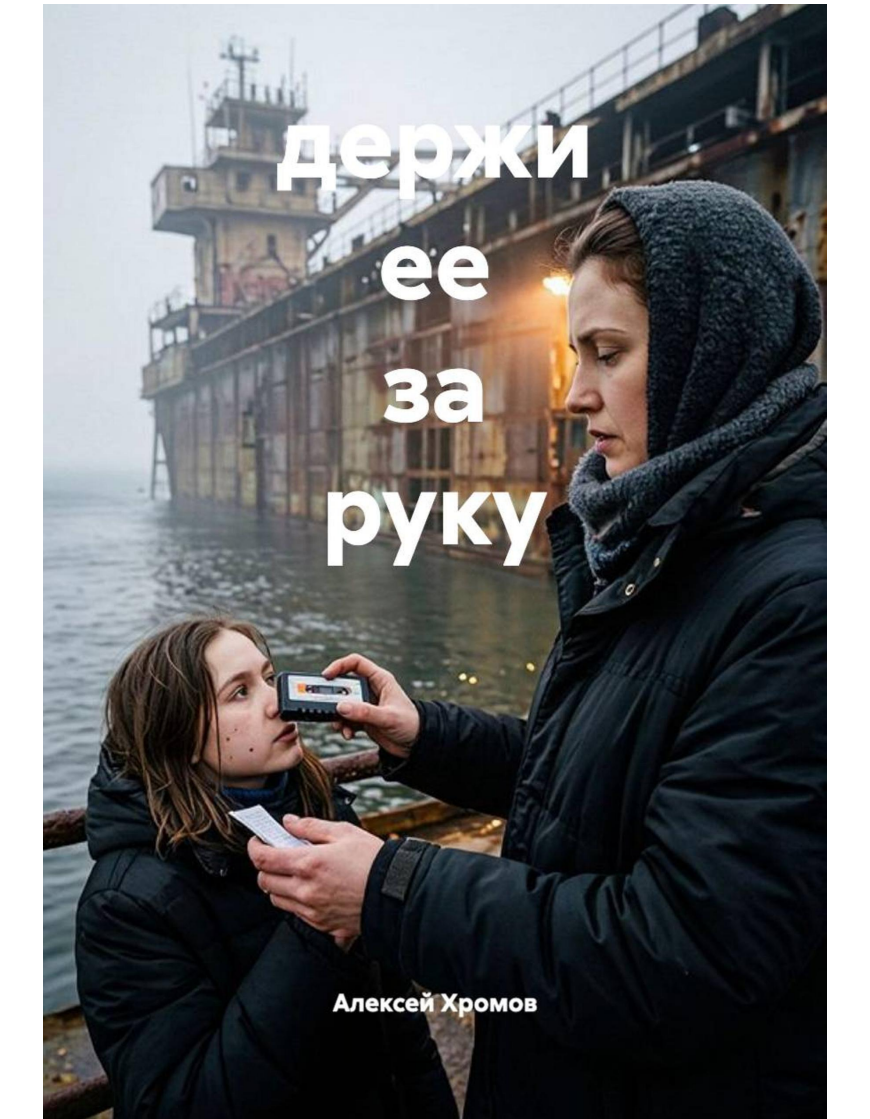




# держи ее за руку

Алексей Хромов

# Алексей Хромов

## держи ее за руку

<https://litres.ru/74499374>

SelfPub; 2026

### Аннотация

Ноябрь 2008-го, портовый город Устьма. Нагонная вода уходит из заброшенного сухого дока — и обнажает тело двадцатидвухлетней Веры Смолиной, ночной сиделки выездной паллиативной службы. Она записывала своим умирающим пациентам голосовые письма на старый кассетный диктофон.

Следователь Ирина Гощина ведёт дело одиннадцать дней и обнаруживает, что лгут все: мать, отчим, напарница, пресс-секретарь фонда, координатор службы. Каждый — по своей мелкой, стыдной причине, и ни одна ложь сама по себе не преступление.

Единственный свидетель убийства — семидесятидевятiletняя пациентка, которая после инсульта всё понимает и может произнести одно слово: «нет».

Она говорит его в ответ на любой вопрос. И проходит почти весь роман, прежде чем кто-нибудь догадается, что это не ответ.

# Содержание

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Глава 1. Док номер два                  | 4  |
| Глава 2. Оpozнание                      | 19 |
| Глава 3. Тёплые руки                    | 34 |
| Глава 4. Одиннадцать дней, как они были | 47 |
| Глава 5. Путевой лист                   | 56 |
| Глава 6. Нет                            | 69 |
| Глава 7. Четыре часа в машине           | 82 |
| Глава 8. Кассета три                    | 96 |
| Конец ознакомительного фрагмента.       | 99 |

# держи ее за руку

## Глава 1. Док номер два

Воду из дока никто не спускал. Вода ушла сама.

Об этом Гощиной сказали дважды, прежде чем она успела спросить: сначала по телефону в шесть сорок, потом у проходной, в шесть пятьдесят пять, — и оба раза так, будто оправдывались. Мастер участка Гуськов держал перед собой журнал в дерматиновой обложке, как держат справку от врача.

— Мы туда не лазим, — сказал он. — Там с четвёртого года ничего. Затвор не держит, понимаете. Нагонит — стоит. Ветер сменился — село. Мы её не спускали. Она сама.

— Сама, — повторила Гощина.

Она повторила ровно, без нажима и без вопроса, и Гуськов немедленно начал объяснять ещё раз, теперь про западный ветер, про то, что в устье так каждый год, что в семьдесят восьмом залило подстанцию, и говорил он это уже не ей, а куда-то в сторону вахтёрской будки, где на электроплитке стоял чайник со свёрнутым набок носиком. Гощина смотрела на чайник. Чайник был единственным предметом в этой комнате, который кипел.

Рассвет обещали на девять двадцать. В семь было темно как в час ночи, только темнота была другого качества — не

чёрная, а разведённая, мутная, со взвесью, в которой фонари у проходной стояли отдельными бледными шарами и не освещали ничего, кроме самих себя. С реки тянуло. Гощина знала этот запах шесть лет и всё равно каждый ноябрь заново удивлялась его сложности: мазут, холодное железо, тухловатая илистая сладость, и поверх — что-то домашнее, хлебное, от пекарни за насыпью, которая работала с четырёх утра.

— Кто нашёл, — сказала она.

— Ниязов. Сторож. — Гуськов полистал журнал, хотя там ничего про это не было. — Он с собакой шёл. Собака встала.

— Во сколько.

— Ну, он говорит, в шесть. В начале шестого, может.

— В шесть или в начале шестого.

Гуськов посмотрел на неё.

— Я у него спрошу, — сказал он.

— Я сама спрошу.

Тарасенко стоял в дверях, застёгнутый до горла, и жевал что-то — Гощина не видела что, но слышала, как он жуёт. Он приехал на своей, раньше неё на десять минут, и у него уже была в руках чья-то зажигалка, обычная, прозрачно-зелёная, каких в любом ларьке по три рубля. Он щёлкал ею большим пальцем, не зажигая. Гощина не помнила, чтобы он курил при ней хоть раз за четыре года.

— Ну что, Ирина Сергеевна, — сказал он бодро. — Пойдём посмотреть, чего нам море принесло.

— Река.

— Река, — согласился он охотно. — Один чёрт.

До дока номер два было четыреста метров по бетонке между корпусами, и эти четыреста метров они шли одиннадцать минут, потому что бетонка была в наледи, схватившейся поверх мазутной плёнки, и наледь под подошвой не хрустела, а ехала. Гощина шла медленно, коротким шагом, разведя локти. Где-то слева работал компрессор и останавливался, работал и останавливался, и в паузах становилось слышно чаек. Чайки в ноябре не спали. Они сидели на кранбалке, на бортах плашкоута, на крыше механического цеха, сотни, и переговаривались негромко, деловито, как ночная смена, — и только когда прожектор случайно задевал их лучом, взрывались и уходили в темноту одновременно, тяжело хлопая, и было слышно, как обратно садятся, по одной.

— У нас тут в августе мужик утонул, — сказал Тарасенко. — С парома. Нашли через две недели у пятого причала. Знаете, что самое смешное?

— Нет.

— Он плавать умел. Мастер спорта. — Тарасенко выждал. — Вот и я говорю.

Гощина ничего не сказала. Она отмечала про себя углы: где камера (камер не было), где выход на набережную (два, оба без замка), откуда видно док (ниоткуда, кроме кабины козлового крана, который стоял с апреля), и где на этом маршруте человек мог бы встретить другого человека и не встретить. Выходило, что почти везде.

Док номер два открылся сразу, без перехода: бетонная яма двести метров в длину, сорок в ширину, стены в чёрных горизонтальных полосах — следах уровней за четыре года. Полос было много, они шли неровно, наползая друг на друга, и самая верхняя, свежая, мокро блестела метрах в трёх над дном. На дне стояла вода. Не вся ушла — осталось сантиметров двадцать, разлитых неровно, и в этой воде торчали: секция леерного ограждения, крышка, два ведра, стиральная машина без барабана, рыжий скелет кабельного барабана, и ещё дальше, у самого ступельного блока, лежало то, за чем её вызвали.

Оттуда уже светили. Две переноски на длинных шнурах, мотавшихся на ветру, и желтоватый свет ходил по дну, то вытягивая тени, то кладя их плашмя.

— Генератор, — сказала Гощина.

— Тащат, — отозвался снизу кто-то. — Второй. Первый глохнет.

Она пошла вниз по железной лестнице, вваренной в стену дока, и на восьмой ступеньке поняла, что ступеньки покрыты той же плёнкой, что и бетонка наверху, только гуще, и что перила — это не перила, а труба, покрытая чем-то, что остаётся на ладони. Она сняла перчатку, посмотрела на ладонь и не стала вытирать.

Внизу было тише. Ветер шёл поверху, а здесь, в яме, стоял свой воздух, спокойный, холодный и очень плотный, и пахло в нём не рекой, а погребом: илом, ржавчиной, гнилой верёв-

кой. Вода в сапогах немедленно нашла щель между голенищем и брючиной. Гощина отметила и это — не как неудобство, а как факт: следы на дне не сохранятся, дно перемешано, дно было залито трое суток.

Возле тела работал Шахов.

Валентин Петрович Шахов, судебно-медицинский эксперт, шестьдесят один год, стоял на корточках, широко расставив колени, и при своих ста килограммах держался на скользком бетоне устойчивее всех присутствующих. На нём был ватник поверх халата. Он не поднял головы.

— Ирина Сергеевна.

— Валентин Петрович.

— Я вам сразу скажу, что я вам ничего не скажу.

— Скажете.

— Скажу, — согласился он. — Но немного, и всё потом переделаю.

Она встала так, чтобы не перекрывать свет, и посмотрела.

Женщина лежала на левом боку, подтянув колени, у самого стапельного блока, головой к стене дока, и правая рука была вытянута вперёд и вверх — не жестом, а тем безразличным образом, каким лежат руки у тех, кому уже всё равно, как лежит рука. Тёмная куртка, короткая, с капюшоном. Джинсы. Один ботинок. Второго не было. Волосы длинные, тёмные, слиплись в жгуты и лежали отдельно от головы, вытянувшись по течению, которого здесь уже три часа не было, — и то, что они так и остались вытянутыми, было хуже все-

го, потому что показывало: вода уходила медленно и уложила их, как укладывают.

Молодая. Это было видно сразу, по кисти руки, по тому, как сидели джинсы, по резинке для волос на левом запястье — чёрной, растянутой, с блестящей ниткой.

— Трое суток, — сказал Шахов. — Плюс-минус сутки. В воде холодной, при пяти-шести градусах. Я вам это говорю сейчас, а завтра скажу другое.

— Двадцать первое, двадцать второе.

— Ночь с двадцать первого на двадцать второе, если вы хотите, чтобы я угадал. Я не хочу.

— Хотите.

Шахов хмыкнул и ничего не ответил. Он приподнял ворот куртки двумя пальцами — осторожно, как поднимают край скатерти, проверяя, не липко ли, — и подсветил себе маленьким фонарём.

— Шея, — сказал он.

— Что шея.

— Шея, Ирина Сергеевна. Не река.

Наверху взорвались чайки. Тяжёлый мягкий грохот сотен крыльев прошёл над доком и ушёл в сторону реки, и почти сразу переноска мигнула, потемнела до оранжевого волоска в лампе и погасла. Стало абсолютно черно. Кто-то выругался, кто-то сказал «стой, не ходи», кто-то стоял в воде и не двигался. Гощина осталась на месте. Она слышала, как Шахов рядом дышит с присвистом и как у него в кармане ват-

ника шуршит полиэтилен.

— Пятый раз, — сказал Шахов в темноту, обыденно. — Я вам говорил: до девяти тут делать нечего.

— До девяти она тоже лежит.

— Она везде лежит, — сказал Шахов. — Ей теперь без разницы, а мне шестьдесят один.

Свет вернулся. Тарасенко спустился, встал рядом и как-то очень быстро, в одно движение, перестал быть бодрым. Он смотрел не на тело, а чуть мимо, на воду возле ботинка, где качалась размокшая сигаретная пачка.

— Молодая, — сказал он.

— Да.

— Ирина Сергеевна, у нас в пятницу заявление приняли. — Он полез во внутренний карман, достал сложенный вчетверо лист, развернул, посмотрел, сложил обратно, не прочитав ни строчки. — Смолина Вера Игоревна, восемьдесят шестого. Мать подавала. В воскресенье, двадцать третьего. Работала в этой, как её. В фонде. Сиделкой.

— В фонде.

— Ну. «Тёплые руки». Которые с концертами.

Гощина взяла у него лист, прочитала целиком, оба раза — печатный текст и приписку от руки внизу, неровную, с нажимом. «Дочь не берёт трубку с 21.11». И ниже, другими чернилами: «Она ответственная».

— Двадцать первого, — сказала она.

— Ну.

— Не «ну». Двадцать первого.

Она вернула ему лист. Тарасенко сунул его в карман и тут же, не заметив этого, переложил в другой, и в правой руке у него снова оказалась зелёная зажигалка, и он опять щёлкнул ею, не зажигая.

Шахов работал. Он делал это медленно и вслух, не для протокола, а потому что так думал: «правая кисть... ссадины по тылу, посмертные, о бетон... ноготь третьего пальца обломан, но это может быть и раньше... одежда... так, а вот это интересно, а вот это мы посмотрим при свете...» — и в какой-то момент замолчал надолго.

— Валентин Петрович.

— Подождите.

Он взялся за плечо и бедро и повернул тело на спину — не рывком, а медленно, всем весом уходя назад, и вода под ней чавкнула и отпустила. Гощина присела на корточки.

Лицо было не тронуто.

Всё остальное — три дня в воде, три дня у бетонной стены с крышкой и секцией ограждения, которые при каждом порыве ветра ходили по дну и били, — всё остальное было тем, чем становится тело в такой воде. А лицо было целое. Бледное, оплывшее, с закрытыми глазами, но целое: ни ссадины, ни задира, ни следа удара о бетон. Приоткрытый рот. На верхней губе — крошечный светлый шрамик, старый, детский, из тех, что остаются от разбитой в шесть лет губы и держатся всю жизнь.

— Она сюда не падала, — сказал Шахов.

— Не падала.

— Падают лицом. Всегда. Я двадцать лет из этого дока доставал пьяных, и у всех лицо. — Он подсветил снизу вверх и погасил фонарь. — И пятна.

— Что пятна.

— Пятна у неё на спине и на ягодицах, Ирина Сергеевна. Фиксированные. А лежала она на боку. — Он выпрямился, придерживая поясницу, и посмотрел на неё сверху, впервые за всё утро. — Она несколько часов лежала на спине. На ровном. И только потом оказалась здесь.

Гощина не встала. Она смотрела на подошву единственного оставшегося ботинка — короткого, замшевого, дешёвого, с уже отклеивающимся рантом. На протекторе, в поперечных канавках, держалось что-то плотное, сухое даже сейчас, спрессованное: не ил. Что-то светлое и волокнистое.

— Валентин Петрович. Подошву мне отдельно.

— Отдам.

— И карманы здесь не трогаем. Наверху, при свете, под протокол.

— Как скажете.

Она встала. Колени отозвались. Она отвернулась, сделала три шага в сторону, к стене, и постояла, положив ладонь на бетон. Бетон был мокрый и тёплый — не тёплый, конечно, просто теплее воздуха, и рука это почувствовала как тепло, и на секунду стало омерзительно.

Наверху, у ограждения, собрались люди. Смена заканчивалась в восемь, и те, кому некуда было идти до вечера, стояли в оранжевых жилетах вдоль всего борта дока, человек двадцать, молча, положив руки на трубу, и сверху казалось, что это ряд одинаковых, очень внимательных чаек.

*Говорили, что это та самая, с парома. Говорили, что таких в порту за год три, просто про остальных не пишут. Говорили, что док надо было засыпать ещё в пятом году, когда туда мальчишка упал, а не засыпали, потому что холдинг держит его на балансе под какой-то кредит, и что всем всё известно. Говорили: жалко девку. Говорили это не о ней: имени её в то утро ещё никто не знал.*

— Ирина Сергеевна. — Тарасенко подошёл, встал рядом, по-прежнему глядя в сторону. — Я вот чего думаю. Её же сюда как-то привезли.

— Да.

— Пешком сюда не придёшь. То есть придёшь, но не с этим. — Он неопределённо повёл подбородком в сторону стапельного блока. — Значит, машина. Значит, через проходную. Значит, журнал.

— Журнал у Гуськова.

— Ну, журнал у Гуськова. — Он помолчал. — Ирина Сергеевна, а если её бросили в воду где-то там, и её притащило?

— Куда «там».

— Ну в устье. Нагоном же гонит.

— Нагоном гонит в док, — сказала Гощина. — Она лежа-

ла в доке, за блоком, с той стороны, куда ничего не наносит. Я смотрела: там всё чисто. Весь мусор у восточной стенки. — Она показала рукой, не поворачивая головы. — Её принесли и положили. Или сбросили сверху, и тогда она упала бы лицом, и лицо у неё было бы не такое.

Тарасенко потёр щёку.

— А какое у неё лицо?

— Целое.

Он не нашёл, что сказать, и сказал:

— Ну да.

В восемь двадцать подняли носилки. Работали шестеро, лестница была на одного, и кончилось тем, что мешок поднимали верёвками, боком, и он два раза ударился о стену, и каждый раз кто-то наверху говорил «аккуратнее», хотя аккуратно уже было нельзя. В девять тридцать, при так и не наступившем толком свете — небо стало не светлее, а только шире, — во дворе механического цеха на расстеленном полиэтилене вскрыли карманы.

В правом кармане куртки: скомканная салфетка, билет на паром от двадцатого, размокший до состояния папиросной бумаги, двадцать два рубля мелочью, аптечная резинка.

В левом: ключ. Один. Плоский, от домофона, на кольце, и больше на кольце ничего.

Гощина держала пакетик двумя пальцами и смотрела на этот ключ дольше, чем требовалось.

— Один, — сказала она.

— Ну, один, — сказал Тарасенко. — А сколько надо?

— Она сиделка.

— И?

— Сиделка ходит по чужим квартирам. — Гощина положила пакет на полиэтилен, ровно, параллельно краю. — У неё должна быть связка. Шесть адресов, восемь адресов. Ключи от подъездов, от квартир, бирки. Это полкилограмма железа. Такое не теряют в воде по одному.

Тарасенко посмотрел на ключ и задумался — по-настоящему, не изображая.

— Может, сдавала после смены?

— Вот это мы и спросим.

— У кого?

— В фонде.

Он кивнул и полез за сигаретами, и обнаружил в руке зелёную зажигалку, и на секунду остановился, разглядывая её так, будто она появилась у него только что.

— Это чья? — спросил он.

Гощина не ответила.

Она отошла к воротам цеха и съела там бутерброд, который лежал у неё в машине со вчерашнего дня: хлеб, сыр, всё это холодное и жёсткое, как картон. Ела стоя, боком к стене, придерживая пакет локтем. Внутри цеха был стол и три табуретки, и Гуськов уже говорил, что сейчас чаю, и она сказала «спасибо, нет», и ела стоя, и не думала ни о чём, кроме того, что сорок минут назад на дне дока правая рука лежала

вытянутой вперёд, и что в этом жесте её раздражало что-то, чего она пока не могла назвать.

Сторож Ниязов пришёл в десять, невыспавшийся и напуганный, и рассказал, что шёл с собакой, и собака встала у второго дока, и он посветил и сначала подумал, что это манекен, потому что в прошлом году там был манекен из магазина, его сбросили пацаны.

— Во сколько вы посветили.

— Так это... — Он посмотрел куда-то вбок, в сторону Гуськова. — В шесть.

— В шесть или в начале шестого.

— В шесть. — Он подумал. — В пять пятьдесят.

— А в журнале у вас что?

Ниязов молчал секунды четыре.

— В журнале обход в шесть, — сказал он наконец. — Я всегда в шесть пишу.

— Вы ходите в шесть или пишете в шесть?

Он посмотрел на неё жалобно.

— Я хожу, — сказал он.

Гощина записала: «обход 05:50–06:00, журнал 06:00, расхождение объяснено». Потом зачеркнула «объяснено» и написала «отмечено».

К одиннадцати ветер зашёл. Она почувствовала это не кожей, а по звуку: компрессор в паузах перестал быть слышен, вместо него появился ровный низкий гул со стороны устья, как будто где-то далеко, за молом, не выключили большой

двигатель. Чайки снялись все разом и ушли к городу.

Гуськов вышел из будки, посмотрел на небо, потом на реку, потом на носки своих сапог.

— Вот так вот, — сказал он с непонятым удовлетворением. — Заходит.

— Что заходит.

— Западный. — Он мотнул головой. — К четвергу, если так пойдёт, опять нагонит.

— Нагонит куда.

Гуськов удивился вопросу.

— Так в док же, — сказал он. — Он у нас первый принимает. Наберётся метра на три и постоит неделю. Как всегда.

Гощина стояла и смотрела вниз, в яму, где двое в резиновых сапогах ещё ходили с фонарём вдоль восточной стенки, разгребая палкой покрышку и ведро, и где на светлом от воды бетоне у стапельного блока осталось тёмное сухое пятно — единственное сухое место на всём дне дока, — точно по форме подтянутых коленей, вытянутой руки и длинных волос, уложенных так, как их уложила уходившая вода.

Через три дня этого пятна не будет.

Она посмотрела на часы. Одиннадцать двенадцать.

— Лев, — сказала она. — Едем в фонд.

— Сейчас?

— Сейчас.

Тарасенко пошёл к машине, на ходу застёгиваясь и что-то насвистывая, и уже у двери обернулся:

— Ирина Сергеевна, а она у них кем была-то? Сиделка — это вообще кто? Это как медсестра или как?

— Это тот, кто сидит, — сказала Гощина.

И только когда они выехали за ворота и справа потянулась чёрная, уже тронутая рябью вода, она поняла наконец, что её так задевало в положении правой руки.

Рука была вытянута не вперёд.

Рука была вытянута вверх — так, как тянутся не убегая, а поднимаясь. Так тянут руку, когда её кто-то держал.

## Глава 2. Оpozнание

Коридор в бюро был выкрашен масляной краской до высоты плеча, и краска была жёлтая — не лимонная, не охра, а тот самый больнично-учрежденческий жёлтый, который кладут в две руки поверх старого слоя и который через два года начинает отдавать в зелень. Выше панели шла побелка. Граница между ними была неровная, с потёками, и кто-то когда-то пытался её подровнять, но бросил на середине левой стены, и с тех пор половина коридора имела ровную линию, а половина — нет.

Гощина знала эту линию четыре года. Она всегда смотрела на неё, когда ждала.

Они ждали с двадцати минут второго. Санитар сказал «минут двадцать», потом ещё раз «минут двадцать», и во второй раз это уже ничего не значило — значило только, что там ещё не готово, что ещё моют, накрывают, перекладывают, и что лучше об этом не думать. Вентиляция гудела в стене на одной ноте. Где-то за поворотом капало в раковину с частотой примерно раз в три секунды, и Гощина поймала себя на том, что считает.

Татьяна Смолина сидела на банкетке прямо, не касаясь спиной стены, в бежевом пальто с крупными пуговицами, и держала на коленях жёлтый полиэтиленовый пакет из «Универсама». Пакет был новый, с ручками, тщательно расправ-

ленный, и в нём лежало что-то мягкое, немного. Она держала его двумя руками сверху, как держат сумку в автобусе.

— Я ей халат принесла, — сказала она. — И тапочки. Байковые, у неё там есть, но там тонкие, а эти байковые.

Гощина посмотрела на пакет.

— Этого не нужно, — сказала она.

— Ну как не нужно. — Татьяна улыбнулась, коротко и вежливо, будто ей предложили не брать сдачу. — Ей же в чём-то. Она мёрзнет всегда, у неё с детства руки ледяные, я ей говорю: Верочка, ты хоть перчатки, а она — мам, ну кто в перчатках, — и ходит, и потом приходит, и руки просто как из холодильника, я их между ладонями держу, грею, она смеётся и вырывает.

Гощина не перебила.

— Она смеётся, — сказала Татьяна, — и вырывает.

Лапин стоял. Он не садился с самого начала и стоял у окна, боком, в чёрной рабочей куртке поверх свитера, и смотрел на улицу, где ничего не было, кроме глухой стены гаражей и снега, который начинался и переставал четыре раза за последний час. Руки он держал в карманах. Рост средний, плечи покатые, седоватый ёжик, лицо, каких в городе тысячи, — Гощина отметила и это тоже: человека с таким лицом опознать по описанию невозможно.

Он молчал.

Он молчал с момента, когда вошёл в бюро. Он не поздоровался, не назвался, не подписал ничего, что ему пока не

давали подписывать, и не произнёс ни одного слова ни ей, ни жене — за сорок минут ни разу.

В час сорок пять вышел Шахов. Он был без ватника, в чистом халате, и сначала посмотрел на Гощину, а потом на женщину с жёлтым пакетом, и Гощина увидела, как он на секунду опустил глаза — на пол, на свои сабо — и сразу поднял.

— Пройдёмте, — сказал он. — Татьяна... простите.

— Николаевна.

— Татьяна Николаевна. Идите за мной. Вы близко не подходите, вам не надо близко. Смотреть будете через стекло.

— Я подойду, — сказала Татьяна.

— Через стекло, — сказал Шахов.

Она встала и пошла, по-прежнему держа пакет двумя руками. Лапин отлепился от окна и пошёл сзади, в двух шагах.

Комната опознания была четыре на три, с одной лампой под жестяным колпаком, и лампа давала тот же жёлтый, что и в коридоре, только более густой, потому что стены здесь были выкрашены целиком, от пола до потолка. Стекло — широкое, в рост, с рамой из крашеного дерева, и за ним, в соседнем помещении, стоял стол на колёсах, накрытый светло-зелёной простынёй, и над столом горела вторая лампа, поярче.

Санитар стоял с той стороны, положив ладонь на край простыни, и ждал кивка.

Гощина встала слева, у самой стены, так, чтобы видеть лица обоих.

Шахов кивнул.

Простыню отвернули до ключиц, коротко, точным движением, и снова опустили край, подравнили.

Тишина в комнате изменилась. Она не стала глубже — она стала плотнее, как вода, в которую опустили руку.

Татьяна стояла и смотрела. Лицо у неё было спокойное и внимательное, такое, с каким смотрят в очереди на табло с номерами. Прошло, наверное, секунд шесть.

— У неё волосы не так лежат, — сказала она.

Гощина не двинулась.

— Она их назад всегда. — Татьяна подняла руку и показала на себе, на своём виске, двумя пальцами, движением от лба к затылку. — Вот так. А это вперёд зачесали. Кто ей так зачесал?

— Это вода, — сказал Шахов негромко.

— Вода, — повторила Татьяна.

Она шагнула ближе, к самому стеклу, и Шахов сделал движение рукой, но не тронул её.

— У неё родинка вот здесь, — сказала Татьяна. — На шее слева, маленькая совсем. Её из-за волос не видно никогда, она сама её терпеть не может, говорит — мам, это же уродство, а я говорю — Верочка, это же примета, у моей мамы точно такая, и у тебя, значит, всё будет как у неё, а она говорит: спасибо, мам, обнадёжила, — и хохочет.

Она стояла, чуть наклонившись, разглядывая, и ещё держала жёлтый пакет.

— И губа, — сказала она. — Губу она разбила в шесть лет, об качели, на Комсомольской, зимой. Там качели железные, их потом сняли. Два шва. Шрамик остался.

— Татьяна Николаевна, — сказал Шахов. — Вы узнаете дочь?

Татьяна повернулась к нему и посмотрела с недоумением, почти с раздражением.

— Так я же вам говорю, — сказала она.

— Мне нужно, чтобы вы сказали словами.

— Это Вера.

Она сказала это ровно, отчётливо, как называют фамилию в регистратуре. Потом поставила пакет на пол — аккуратно, на дно, проверив, чтобы не завалился, — и обеими ладонями прижалась к стеклу, и осталась так.

Ничего не произошло. Она не закричала и не осела. Она просто стояла, прижав ладони, и стекло под ладонями запотевало, и она этого не замечала, а когда запотело совсем, она подышала на него специально, потом протёрла рукавом пальто, чтобы лучше видеть, и снова прижала ладони.

Гощина посмотрела на Лапина.

Он стоял в двух шагах позади жены, руки в карманах, и смотрел не на стекло, а чуть ниже — на металлическую раму стола, на колёса. Он не подошёл. Он не положил ей руку на плечо. Он ничего не сделал, и в его неподвижности не было ни холода, ни отстранённости — была именно неподвижность, полная, без запаса, как у человека, который не знает,

какое движение сейчас существует.

На часах у Гощиной было тринадцать пятьдесят восемь.

Оформление заняло сорок минут, и все сорок минут Татьяна говорила. Она говорила в коридоре, пока искали бланк; говорила, пока писала под диктовку санитаря «опознаю как свою дочь»; говорила, когда у неё спросили паспорт, и доставала паспорт, и вместе с паспортом достала из сумки две квитанции, автобусный билет и мятую жёлтую памятку из поликлиники, разложила всё это на подоконнике, искала, нашла, сложила обратно — и продолжала говорить, и говорила при этом вещи совершенно точные, конкретные, с датами, с ценами, с фамилиями, и всё это было про Верочку, которая любит чай с двумя ложками и не любит с молоком, которая в шестом классе выиграла район по лыжам, которая покупает себе сапоги на размер больше, потому что «мам, мне в них ходить, а не позировать», — и ни разу за сорок минут ни одного слова про то, чем эта Верочка занималась последние восемь месяцев.

Гощина ждала. Слово не появилось.

В кабинете, куда они перешли — маленьком, с двумя столами и железным шкафом, — Лапин сел наконец: на стул у двери, не придвигаясь. Стул под ним качнулся. Он встал, перевернул его, посмотрел, достал из кармана куртки короткую отвёртку и подтянул шуруп в крестовине. Потом поставил стул обратно, качнул рукой, проверил и сел.

Всё это он проделал молча, и никто не сказал ни слова,

пока он этим занимался.

— Татьяна Николаевна, — сказала Гощина. — Когда вы последний раз разговаривали с дочерью?

— В пятницу.

— Двадцать первого?

— Да. В пятницу вечером.

— Во сколько.

Татьяна посмотрела вверх и влево.

— Часов в девять. Около девяти. — Она кивнула сама себе. — Да, в девять, потому что у меня программа начинается в девять, я как раз телевизор включила и звук убавила.

— Кто кому звонил.

— Она мне. Она мне всегда сама, я стараюсь не дёргать, у неё же смены, она может спать днём, я позвоню — разбужу, она потом злится. — Татьяна улыбнулась. — Она мне звонит по пятницам. Она всегда по пятницам звонит.

Гощина записала. Она писала медленно и полностью, не сокращая, и в тишине было слышно только перо и вентиляцию за стеной.

— О чём вы говорили?

— Да ни о чём. Как обычно. Что у неё всё хорошо, что она поела. Я спросила, как учёба, она говорит — нормально, мам, сессия в январе, чего ты сейчас. Ну и всё. — Татьяна поправила на коленях пальто. — Минуты три, наверное.

— Три минуты.

— Ну, может, пять.

— Три или пять.

— Вы поймите, я же не засекала. — В голосе впервые появилась резкость и тут же ушла. — Я же не знала.

— Да, — сказала Гощина. — Вы не знали.

Она перелистнула страницу.

— Она вам говорила, где будет в ту ночь?

— Так она на работе. — Татьяна осеклась на полуслове, и Гощина увидела, как осеклась: не на мысли, а на слове, будто в неё ткнули. — Она... у неё смена была. Она смену брала.

Это было первое «работа» за полтора часа, и оно вышло у неё наполовину.

— Где именно, не сказала?

— Нет.

— Адрес когда-нибудь называла?

— Нет. Они не имеют права, там же тайна. — Татьяна подняла подбородок. — У них всё серьёзно.

— Кто «они».

— Ну фонд этот. — Она сказала это слово так, как говорят «поликлиника номер четыре». — «Тёплые руки». У них ещё эти, жилетки жёлтые. Их весь город знает.

Лапин сидел у двери, положив ладони на колени. Он смотрел на свои ладони.

— Виктор Николаевич, — сказала Гощина.

Он поднял глаза.

— Вы двадцать первого вечером где были?

Пауза.

Гощина умела ждать паузу. У большинства она длится секунду, у врущих — две, потому что они уже знают ответ и изображают, что вспоминают. У Лапина прошло четыре.

— Дома, — сказал он.

— Весь вечер?

Четыре секунды.

— Нет.

— Где были?

Четыре секунды.

— Ездил.

— Куда.

Пауза стала длиннее. Гощина не считала, но по часам на стене прошло не меньше пятнадцати секунд.

— Виктор Николаевич.

— Я потом скажу, — сказал он.

Татьяна быстро повернулась к нему.

— Витя, ну что ты как... — Она засмеялась, коротко и неуместно, и объяснила Гощиной: — Он у меня неразговорчивый. Он всю жизнь такой. Он и дома-то... — Она не закончила и вместо конца фразы разгладила пальто на колене. — Он в гараже был. Он в гараже всё время.

Лапин ничего не сказал.

— Вы были в гараже? — спросила Гощина.

Он посмотрел на жену — один раз, коротко, без выражения — и снова на свои ладони.

— Я потом скажу, — повторил он.

Дальше он молчал четыре минуты.

Гощина засекла по часам на стене, круглым, с красной секундной стрелкой: четырнадцать ноль шесть, когда она задала следующий вопрос — и четырнадцать десять, когда он всё-таки ответил на него двумя словами. Четыре минуты — это очень много. Это столько, сколько занимает остыть чаю. За эти четыре минуты Татьяна успела рассказать, как они делали в комнате Веры ремонт в две тысячи четвёртом и как обои не подошли по рисунку, потому что рулоны были из разных партий, и как Вера сказала, что так даже интереснее, и как она эту комнату каждый день, каждый божий день —

— Я её убираю каждый день, — сказала Татьяна. — Пыль, постель перестилаю в среду, окно мою раз в месяц. Там всё как она оставила, только чисто. Она вернётся — а там чисто.

В кабинете стало тихо. Санитар в коридоре прошёл мимо двери, насвистывая, и оборвал свист.

Татьяна услышала себя. Гощина видела точно, в какую секунду: у женщины дёрнулась левая щека, как от слепня, и она отвела глаза в сторону железного шкафа.

— Я говорю, там чисто, — сказала она другим голосом, ниже. — Было чисто.

— Татьяна Николаевна, — сказала Гощина. — Мне нужно будет осмотреть её комнату.

— Осматривайте.

— Сегодня уже не успеем. Завтра.

— Осматривайте, — повторила Татьяна. — Только я вас

прошу, вы там ничего... — Она поискала слово. — Вы там, пожалуйста, на место.

— На место положим.

Гощина вынула из папки опись и положила перед собой, повернув так, чтобы видеть самой, а не матери.

— Последнее на сегодня. При ней были вещи. — Она перечислила, глядя в лист, ровным служебным голосом: — Куртка, джинсы, свитер, бельё, один ботинок. Резинка для волос. В кармане — билет на паром, салфетка, двадцать два рубля, ключ от домофона.

Она сделала паузу.

— Один ключ.

Татьяна кивала при каждом слове, как кивают, когда зачитывают список покупок.

— А сумка? — сказала она.

— Сумки не было.

— У неё сумка. Тряпичная, через плечо, синяя, с таким... — она показала пальцем в воздухе кривую, — с якорем. Она её никогда не снимает. Она с ней даже дома ходит, я ей говорю: Вер, ну сними ты её, а она — мам, я на минуту.

— Что она в ней носила?

— Да всё. Блокнот, зарядку. Пакет с бахилами. Термос маленький.

— Ключи от квартир, где она работала?

— Не знаю.

— Она приносила домой связку ключей?

Татьяна задумалась по-настоящему, и на это ушло секунды три.

— Я не видела, — сказала она. — Я в сумку не лазила.

Гощина записала: «мать связку не видела, в сумку не заглядывала» — и подчеркнула второе. Потом посмотрела на Лапина.

— Виктор Николаевич, вы видели у неё связку ключей?

Четыре секунды.

— Да, — сказал Лапин.

Татьяна повернула к нему голову.

— Где вы её видели?

— На тумбочке. В прихожей. — Он говорил коротко, отчётливо, без единого лишнего слова. — Когда приходила. Клала на тумбочку, потом забирала.

— Сколько ключей?

Пауза.

— Много. — Он подумал. — Бирки такие. Картонные, с номерами. Штук восемь.

— С номерами, — повторила Гощина. — Не с адресами?

— С номерами.

Татьяна смотрела на мужа так, будто он заговорил на другом языке. Гощина подумала, что, возможно, для неё это так и было: человек, с которым она девять лет живёт, только что сообщил о её дочери факт, которого у неё нет.

— Спасибо, — сказала Гощина.

Она собрала бумаги. Всё было оформлено. Полагалось

сказать какую-нибудь фразу, и у неё была такая фраза, служебная, она произносила её раз тридцать за шесть лет, и она произнесла её и теперь.

— Мне очень жаль.

Татьяна кивнула, встала, надела шарф, поправила его под воротником, застегнула пальто на все пуговицы снизу вверх и только потом наклонилась и подняла с пола жёлтый пакет.

Она посмотрела внутрь.

— Халат, — сказала она.

— Оставьте у санитара, — сказала Гощина. — Он передаст.

— Да, — сказала Татьяна. — Конечно.

Она не отдала пакет санитару. Она вынесла его с собой, и Гощина видела в окно, как женщина в бежевом пальто идёт через двор к воротам с жёлтым пакетом в руке, а Лапин идёт сбоку, в полушаге позади, и оба не разговаривают, и идут не под руку, а просто рядом, как идут двое, вышедшие из одного здания.

Гощина докурила бы, если бы курила. Вместо этого она постояла у окна.

Снег опять начался. Он не ложился: долетал до асфальта и исчезал, и от этого казалось, что двор не белеет, а только рябит.

«Она мне звонит по пятницам. Она всегда по пятницам звонит».

Гощина открыла блокнот и посмотрела на свою же запись:

*21.11, пт., ок. 21:00, звонила В., 3–5 мин., «всё хорошо, поела, сессия в январе».*

Двадцать первое ноября две тысячи восьмого года было пятницей. Тут всё сходилось.

Она перевернула страницу назад, к выписке, которую ей утром скинули в двух строчках по телефону, потому что официальный запрос уйдёт только завтра, а Тарасенко, по своим каналам, умел получать две строчки за час: последнее соединение абонента Смолиной В. И. — двадцать первого ноября, двадцать три часа девятнадцать минут, базовая станция в районе Кировской насыпи. Исходящий на номер диспетчерской службы. Одиннадцать секунд.

А до этого — тишина. Три дня тишины. Ни входящих, ни исходящих с девятнадцатого ноября.

В девять вечера двадцать первого дочь ей не звонила. В девять вечера двадцать первого дочери никто не звонил вообще.

Гощина закрыла блокнот и постояла ещё немного, глядя, как внизу, у ворот, женщина в бежевом пальто вдруг остановилась, обернулась и посмотрела наверх — точно в это окно, хотя видеть её оттуда было нельзя.

Потом Татьяна что-то сказала мужу, и он пошёл обратно через двор, один, быстро, и через минуту постучал в дверь кабинета и приоткрыл её, не входя.

— Она спрашивает, — сказал он. — Телефон нашли?

— Нет, — сказала Гощина.

Лاپин постоял в дверях, держась за ручку.

— Она без телефона не может, — сказал он.

И это было первое, что он произнёс за весь день о падчерице, — и он произнёс это в настоящем времени тоже.

## Глава 3. Тёплые руки

Дом культуры судоремонтников стоял на Портовой торцом к реке, и половина его окон была заложена силикатным кирпичом ещё в девяностые. Над колоннами сохранилась надпись из накладных букв, у которой не хватало двух: «ДОМ К ЛЬТУ Ы». Правое крыло арендовала мебельная фирма. В левое вела отдельная дверь, недавно покрашенная, с пластиковой табличкой, и на табличке — две раскрытые ладони, обведённые одной линией, и слова: **БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ТЁПЛЫЕ РУКИ»**.

Внутри пахло не тем, чем должно было пахнуть.

Гощина ждала запаха больницы и не нашла его. Пахло пылью от штор, старым деревом сцены, немного кофе и — сильнее всего — клеем от свежего линолеума. Бывшее фойе было перегороджено гипсокартоном на четыре кабинета; коридор между ними покрасили тёплой жёлтой краской, поверх краски повесили детские рисунки в рамках и ряд фотографий: люди в жилетах, люди с коробками, люди, пожимающие руки другим людям. На большинстве фотографий в кадре стоял одиноко узнаваемый плотный мужчина с высоким лбом, которого весь город последние два месяца видел ещё и на щитах вдоль Портовой.

Сцену не разбирали. Она была видна в конце коридора через двустворчатую дверь: доски, задник, свёрнутый жёл-

тый занавес и рояль, накрытый простынёй, стоящий там, где ему и полагалось стоять.

— Это у нас актовый, — сказала женщина в жилете, ведя её мимо. — Концерт будет четвёртого. Вы приходите, правда, приходите.

— Спасибо.

— Все приходят, — сказала женщина.

В бывшей костюмерной был склад. Гощина заглянула в открытую дверь и остановилась. Стеллажи до потолка: памперсы для взрослых, пелёнки, пакеты с системами, два кислородных концентратора на полу, в ряд, как чемоданы в камере хранения. Вдоль стены — шеренга больших мусорных мешков, завязанных, с бумажками на скотче.

— А это что?

— Вещи, — сказала женщина в жилете.

— Чьи?

— Ну... — Она сделала лицо, означающее, что вопрос бестактный. — Которые не забрали. Мы храним. Мы всем звоним, правда, по два раза звоним. А они не приезжают.

На ближайшем мешке было написано фломастером: «Кир-ва, кв. 38, 06.10». Почерк мелкий, аккуратный, с наклоном.

— Долго храните?

— Год. Потом на ветошь, в порт отдаём. — Женщина помолчала и вдруг добавила совсем другим голосом, не служебным: — Там халаты в основном. Халаты и тапки. Знаете,

сколько у нас тапок?

Мальгин вышел из последнего кабинета сам, не дожидаясь, пока за ним зайдут.

Он был невысокий, худой, в тёмном свитере с растянутым воротом, с коротко стриженными волосами, в которых сидела ровная соль. Лет ему было под сорок. Ничего в нём не запоминалось, кроме рук — крупных для такого сложения, с широкими плоскими ногтями, вымытых до той особенной сухости, какая бывает у людей, моющих руки по двадцать раз в день.

— Андрей Павлович, — сказал он. — Вы по Вере.

— Гощина. Следственный комитет.

— Да. — Он не подал руки и не сделал движения к рукопожатию, и это вышло не грубо, а как-то заранее решённым. — Проходите. У меня двадцать минут, потом выезд. Если вам нужно больше — поедете со мной, и будет сколько угодно.

— Поеду.

Он на секунду задержал на ней взгляд. Глаза были светлые, внимательные и совершенно спокойные.

— Хорошо, — сказал он.

Кабинет был два на три: стол, компьютер, календарь, полка с папками. На стене — большой расчерченный от руки лист ватмана, миллиметровка, приклеенная скотчем по углам, и на ней в клетках — фамилии, время, адреса, стрелки, зачёркивания. Гощина посмотрела на этот лист дольше, чем

на всё остальное.

— Это график?

— Это график.

— Почему не в компьютере?

— В компьютере тоже есть. — Мальгин сел, не предложив ей сесть, и она села сама. — Но в компьютере он мёртвый. Там нельзя увидеть сразу.

— Что увидеть?

— Кто где. — Он повёл ладонью по листу, не касаясь. — Утром я смотрю на стену и знаю. Экран показывает неделю. Стена показывает месяц.

В дверь постучали и, не дожидаясь, вошла молодая женщина в форменной жёлтой безрукавке, с папкой.

— Андрей Павлович, извините. Ольга Семёновна опять просит меня снять с четверга. Говорит, врач ей сказал во вторник.

— Кто говорит?

— Ну, Ольга Семёновна. Врач ей сказал.

— Врач у нас был у неё когда?

Женщина заглянула в папку.

— В четверг. Днём.

— Днём, — сказал Мальгин.

Он сказал это без всякой интонации, ровно, и женщина немедленно кивнула, как будто получила развёрнутый ответ.

— Поняла, — сказала она. — А кто ночью стоял?

— Галя.

— Ну вот, — сказала женщина с облегчением. — Я тогда по Гале.

Она вышла. Мальгин повернулся к Гощиной. Он не стал ничего объяснять, и это было хуже, чем если бы объяснил.

— У вас врач ниже сиделки? — спросила она.

— У меня никто не ниже.

— Но решает Галя.

— Решает та, кто была ночью. — Он сложил руки на столе. — Врач приезжает в четверг днём на сорок минут и видит показатели. Галя в среду с одиннадцати вечера до восьми утра видела человека. Если они говорят разное, я беру то, что видела Галя. Это не про уважение. Это про информацию.

— У вас это где-то записано?

— Что?

— Порядок. Правило. Инструкция. — Гощина достала блокнот. — Кто принимает решение, в каком случае, на основании чего.

Мальгин помолчал.

— У постели нет регламента, — сказал он.

Она записала эту фразу целиком, и он смотрел, как она записывает, и не шевельнулся.

— Андрей Павлович, мне нужны ключи.

— Какие.

— Служебные. Смолина брала у вас ключи от квартир пациентов?

— Брала.

— Сколько?

— По числу адресов.

— Где журнал выдачи?

— Журнала нет.

Гощина подняла голову.

— Как это оформлено?

— Никак. — Он сказал это спокойно, без вызова, как сообщают вес и рост. — Ключ даёт семья. Не мы. Семья даёт ключ человеку, который будет к ним ходить, — вот этому человеку, не «фонду». Я в этом не участвую. Я только говорю, кто к кому ходит.

— То есть на руках у сорока человек неизвестное количество ключей от чужих квартир.

— Известное. Их семьи знают.

— А вы знаете?

Он опять помолчал — и Гощина отметила, что паузы у него не как у Лапина. Лапин молчал, потому что внутри ничего не поднималось. Этот молчал, потому что выбирал.

— Приблизительно, — сказал Мальгин.

Выезжали в девятнадцать сорок.

«Газель» стояла во дворе ДК, боком к погрузочной двери, с работающим двигателем. Водитель — шестидесятилетний, в вязаной шапке, с плоским лицом — не вышел встречать, а только приоткрыл дверцу изнутри и снова закрыл, когда все сели.

— Гена, на Речников, двенадцать, — сказал Мальгин. —

Потом, если что, на Кирова.

— Поехали, — сказал водитель.

В салоне пахло бензином и сухими тряпками. На полу лежали сложенные носилки, стоял ящик с кислородным баллоном, пристёгнутый брезентовым ремнём, и картонная коробка с пелёнками. Сиделка Галина Тимофеевна, женщина лет пятидесяти с мокрым от снега платком на плечах, сразу задремала, привалившись к окну, и спала ровно до того момента, как машина остановилась, и проснулась без перехода, полностью.

Ехали двадцать минут через насыпь. Гощина смотрела в окно: девятый микрорайон, панель, одинаковые торцы, мокрый снег, освещённые окна, в которых работали телевизоры. Во дворе дома номер двенадцать по улице Речников на лавке под козырьком сидели двое мужчин и пили пиво, и когда «газель» встала у подъезда, они посмотрели на неё и продолжили разговаривать.

Кубрин заглушил двигатель, подумал секунду и снова завёл.

— Замёрзнет, — сказал он в никуда.

Лифт был с кодовым замком. Мальгин набрал четыре цифры, не глядя на кнопки.

Квартира на седьмом этаже, дверь обита коричневым дерматином, в дерматине протёрта дыра у замка. Открыла женщина лет сорока пяти, с сигаретой в руке, и по тому, как она посторонилась, было видно, что она рада приходу посторон-

них больше, чем следовало бы радоваться.

— Проходите, проходите. Я курить вышла, я на лестницу выйду, я тут не курю.

— Здравствуйте, Лариса Аркадьевна, — сказал Мальгин. Запах Гощина почувствовала на втором шаге.

Она была в таких квартирах. Это был хороший запах — то есть это был запах квартиры, где ухаживают хорошо: хлорка, свежая клеёнка, чистое бельё, вазелин, кипячёная вода — и всё-таки под всем этим, ровно и неистребимо, стояло то, что этими средствами закрывают. В плохих квартирах хлорки нет и слышно только его. Гощина поймала себя на мысли, которую немедленно отложила: что хорошая квартира страшнее.

В комнате горела маленькая лампа, накрытая сверху газетой для мягкости. Свет был слабый, желтоватый. Телевизор в углу работал без звука — шла реклама шампуня.

На кровати, придвинутой к стене и застеленной поверх матраса жёлтой клеёнкой, лежал очень худой старик. Лицо у него было цвета старой свечи, с проваленными висками, рот открыт. Дышал он неправильно: три-четыре быстрых вдоха, потом остановка, длинная, неприлично длинная, — потом опять быстрые. Возле кровати стоял aspirатор, и его шланг лежал на табурете, свернувшись.

— Аркадий Ильич, — сказала Галина Тимофеевна громко и весело, снимая платок. — Это мы. Вы нас извините, мы шумные.

Старик не реагировал.

Мальгин прошёл на кухню, открыл кран, вымыл руки — долго, тщательно, до запястий, с мылом, дважды — и вытер их вафельным полотенцем, висевшим на гвозде у окна. Полотенце было старое, застиранное до сероватости, с выцветшей красной каймой. Он вытер руки, аккуратно расправил его и повесил обратно ровно, складкой к стене.

Потом вернулся в комнату и сел на стул у изголовья.

Дальше полтора часа ничего не происходило.

Галина перестелила, обработала, проверила катетер, поменяла мешок, отжала салфетку и протёрла старику губы и язык, и делала всё это громко разговаривая — про погоду, про то, что в «Магните» выбросили сахар по акции, про свою внучку, которая не хочет в музыкальную школу. Дочь, Лариса Аркадьевна, четыре раза выходила на лестницу курить и один раз — в магазин. Телевизор работал без звука. За стеной в соседней квартире кто-то сверлил, и сверлил долго, с перерывами, и каждый раз, когда сверло входило, старик на кровати вздрагивал веками.

Мальгин сидел.

Он не говорил, не поправлял подушку, ничего не делал руками. Он держал ладонь старика в своей — не сжимая, просто накрыв сверху, — и сидел так, чуть наклонившись, глядя в лицо. Иногда он менял руку. Один раз, когда в паузе между вдохами прошло, наверное, секунд пятнадцать, он чуть склонился ниже, но не позвал никого.

Гощина стояла у двери, у косяка, и смотрела, и ей было стыдно, что она смотрит, и она не уходила.

*В службе про него говорили: он у постели может сидеть шесть часов и не устать . Говорили: он один раз трое суток не выходил от Маркеловой , и когда вышел , у него была температура , и он поехал на следующий адрес . Говорили: он не пьёт , не женат , не берёт отгулов , и что у него в квартире не переставлена мебель с тех пор , как умерла мать , и что это красиво и страшно . Говорили: если бы все были как он . Говорили это — все , включая тех , кто его никогда не видел .*

В двадцать один пятьдесят с чем-то дыхание изменилось.

Гощина не поняла, что именно изменилось, — просто в комнате стало иначе. Галина Тимофеевна, стоявшая спиной, у окна, обернулась мгновенно. Дочь была на лестнице.

Ещё три коротких вдоха. Пауза.

Ещё один.

Пауза не кончилась.

Сверло за стеной вошло в бетон и шло, наверное, секунд восемь, и остановилось, и стало слышно, как шумит вода в стояке.

Мальгин не позвал дочь.

Он подержал руку ещё немного, положил её на одеяло, встал, вышел в кухню, вернулся — и в руках у него было то самое вафельное полотенце с красной каймой, снятое с гвоздя. Он развернул его на весу одним движением, как разво-

рачивают скатерть, и накрыл лицо старика: не бросил, а опустил, и потом двумя пальцами подровнял край у подбородка. И ещё раз провёл ладонью — по краю, разглаживая.

Всё это заняло секунды четыре.

— Галя, — сказал он. — Позови Ларису Аркадьевну. И чайник поставь.

Галина Тимофеевна вышла. Проходя мимо Гощиной, она приостановилась и сказала ей, очень тихо, с той нежностью, которую люди приберегают для разговора о начальстве, которое любят:

— Он всегда так. Он не даёт им лежать открытыми, пока родные не зайдут. Он говорит — они не должны так, некрасиво. — Она поправила платок. — Никто так не делает. Только он.

На лестнице заплакала дочь — сразу, громко, без подготовки, и плакала правильно, как и надо, и в этом плаче было больше облегчения, чем горя, и она сама это слышала, и от этого плакала ещё громче.

Гощина вышла в кухню.

Мальгин стоял у окна, спиной. Чайник он поставил. Руки он мыл снова — второй раз за вечер, так же тщательно, — и вытирать их теперь было нечем, и он держал их перед собой ладонями вверх, как хирург, ждущий, когда их обработают, и смотрел в тёмное окно, за которым ничего не было, кроме такого же дома напротив.

— Андрей Павлович.

— Да.

— Вы его знали?

— Четыре месяца.

— Вы всем закрываете?

Он не сразу понял вопрос. Потом понял.

— Да, — сказал он.

— Зачем?

Мальгин повернулся. Лицо у него было ровное и очень усталое.

— Дочь сейчас войдёт, — сказал он. — Вы хотите, чтобы она увидела его с открытым ртом?

— Я хочу понять, откуда у вас это.

— Что «это»?

— Привычка.

Он опустил руки.

— Так делают, — сказал он.

— Кто?

— Все. — Пауза. — Раньше делали. Я не знаю, Ирина Сергеевна, я не думал об этом никогда.

На подоконнике стоял ряд пузырьков и картонных упаковок. Мальгин взял с крючка пакет, и, разговаривая, начал сыпать всё это туда — быстро, привычно, левой рукой, не глядя: блистеры, ампулы, флакон, ещё флакон. Гощина смотрела, как он это делает, и что-то в сгребаемом на секунду поймало слабый свет лампы и коротко блеснуло — не как стекло, а как металл.

— Это что?

— Препараты. — Он завязал пакет узлом. — Мы забираем. Родственники потом выбрасывают куда попало, а там наркотические. Всё списывается.

— Кем?

— Мной.

Чайник начал шуметь.

— У вас Вера Смолина брала ключи, — сказала Гощина. — Она их не сдала. Ни один. При ней их не было, дома их нет.

— Я знаю.

— Откуда вы знаете?

— Потому что вы у меня их спрашивали, — сказал Мальгин, — а у меня их нет.

Он поставил пакет у двери, чтобы не забыть.

— Значит, — сказала Гощина, — сейчас по городу ходит связка ключей от восьми чужих квартир, и мы не знаем, у кого она.

Мальгин подумал.

— Семь, — сказал он.

— Что?

— Квартир семь. — Он снял чайник с огня, потому что тот засвистел, и свист оборвался. — Восьмой ключ у неё был от нашего склада.

## Глава 4. Одиннадцать дней, как они были

Вы проходите, проходите, только тапочки вот эти возьмите, у меня полы холодные, первый этаж, под нами подвал и там всегда сыро, я уже и в ЖЭК ходила, и писала, а толку. Нет, вы не разувайтесь, что вы. Ну как хотите.

Это её.

Я тут ничего не трогала. Я вчера пыль вытерла, потому что я каждый день вытираю, я по-другому не умею, у меня если день не вытерто — я не сплю. Вы если надо — вы смотрите, я мешать не буду, я вон присяду. Только вы, если что берёте, вы потом кладите на то же место, ладно? Она у меня знаете какая, она если придёт и увидит, что у неё на полке переставлено, она сразу — мам, ну я же просила.

Она у меня аккуратная. Она с детства аккуратная, у неё в садике был свой шкафчик с грушей, и она одна из всей группы вещи складывала, воспитательница мне говорила: Татьяна Николаевна, у вас не ребёнок, у вас золото.

Одиннадцать дней, вы говорите. Это с какого?

С одиннадцатого. Ну хорошо. Я вам всё по порядку, я помню, у меня на числа память хорошая, я двадцать лет товароведом, у меня накладные в голове держались, я могла без бумажки сказать, сколько чего пришло.

Одиннадцатого был вторник. Она приехала днём, часа в два, у неё смена вечером, она между сменами всегда ко мне заезжает, поесть по-человечески, потому что там что — там чай да печенье. Я ей борщ сварила. Она борщ ест с чёрным хлебом и со сметаной, две ложки сметаны, и корочку отдельно оставляет напоследок, она с трёх лет так делает, я ей говорю: Верочка, ну ешь ты уже по-нормальному, а она — мам, это ритуал, не лезь.

Она сидит вот тут, на кухне, у окна, нога на ногу, волосы мокрые, потому что она голову мыла и не досушила, и говорит: мам, у тебя тюль пожелтела.

Я говорю: она не пожелтела, она солнцем взялась.

А она: мам, она жёлтая.

И мы смеялись. Я потом её сняла и стирала два раза с отбеливателем, она всё равно жёлтая, вон висит, видите? Она права была. Она всегда права, у неё глаз.

В тот день она у меня крем взяла с полки, для рук, у меня хороший, аптечный. У неё руки от этих их растворов сохнут, трескаются на костяшках, до крови иногда, я ей говорила: Вера, ты перчатки надевай, — а она говорит, что в перчатках не чувствуешь.

Чего не чувствуешь, я не спросила. Я тогда не спросила.

Двенадцатого и тринадцатого она была занята. Это среда и четверг. Она мне позвонила, коротко, сказала, что всё хорошо, что поела. Она всегда говорила, что поела, у нас это как пароль было: она звонит, я — ты поела? — она — поела,

мам. И всё, и можно жить дальше.

Четырнадцатого — пятница. Она по пятницам всегда звонит. Обязательно. В девять вечера, потому что у меня в девять программа, и она знает, что я дома. Она мне может не звонить неделю, я не обижаюсь, я понимаю, что у неё то одно, то другое, но пятница — это святое.

Пятнадцатого она приехала с сумкой стирать. У них там общежитие это, комната на двоих, машинки нет, а руками она не умеет, да и что там нарукомойничаешь. Приехала в субботу к одиннадцати, я уже встала, я в выходные всё равно в семь просыпаюсь, привычка.

И вот тут я вам скажу одну вещь, вы, может, запишете.

У них форма. Жилетка такая, безрукавка, жёлтая, с ладошками на спине. Она её стирать привозила отдельно, потому что с остальным нельзя, там же всё-таки. Я её в тазу замачивала, в холодной, потому что в горячей пятна закрепляются, это любая женщина знает. И вот я её достаю, эту жилетку, а она у меня в руках — знаете какая? Она тяжёлая. Мокрая жилетка, а тяжёлая, как будто я не тряпку держу.

Я её потом гладила через марлю и думала: вот в этом моя дочь ходит.

Я ей сказала: Вер, сними ты это с себя. Ты молодая. Тебе двадцать два. Ты знаешь, где сейчас девочки твои одноклассницы? Ленка Бутусова в Питере, в банке. Оля, которая с тобой на лыжах, — та в Мурманске, замужем, второго ждёт.

А она мне: мам, ну я же не навсегда.

Вот это она мне сказала, я дословно помню: мам, я же не навсегда.

И я успокоилась. Потому что не навсегда — это же значит, что она понимает. Она у меня умная, она всё понимает, она просто такая: ей надо самой дойти. Ей с детства нельзя говорить «нельзя», она тогда упрётся. Ей надо, чтоб она сама.

Она же в институт поступила, вы знаете? Заочное, педагогический, в области. Она бы уже на третьем была. Она и есть на третьем. Сессия в январе, она в январе поедет, у неё там подруга, они вместе снимают на время сессии, потому что общежитие дают не всем.

Она бы никогда не бросила. Вы не подумайте. Она у меня доводит всё до конца, она если взялась.

Шестнадцатого — воскресенье. Спала до трёх. Я её не будила. Я в двенадцать заглянула — спит на животе, одна рука под подушкой, вторая свесилась, и лицо в волосах, и дышит. Я постояла и вышла. Я всегда так стояла, с самого её младенчества, я подходила и смотрела, дышит или нет, вы не представляете, какой это ужас, когда ребёнку два месяца и тыходишь ночью и не слышишь.

Ну, в общем, спала. Потом встала, поела, посмотрела со мной кино, там про врачей было, она сказала, что всё враньё, что так не бывает.

И уехала в понедельник рано, семнадцатого. Я ей пирожки завернула с картошкой, шесть штук, в фольгу и в пакет. Она их, наверное, там всем раздала, она так всегда делает, ей себе

жалко, а людям не жалко.

Восемнадцатого я ей звонила сама.

Нет, подождите. Восемнадцатое — это вторник? Тогда, может, и не звонила. Может, это девятнадцатого.

Девятнадцатого, да. В среду. Она мне позвонила вечером.

Она спросила, как у меня давление. У меня двести на сто было в тот понедельник, я скорую вызывала, они укол сделали и уехали. И вот она позвонила и спрашивает: мам, ты мерила? Я говорю: мерила, сто пятьдесят. Она говорит: мало ты мерила.

Ну поговорили. Хорошо поговорили. Минуты три, может, четыре.

Она была уставшая, это слышно. У неё когда усталость, у неё голос ниже становится и она говорит медленнее, и я это за версту слышу, я по первому «алло» слышу, что у неё.

Нет, ничего такого не было. Обычный разговор.

Ну что вы хотите, чтоб я вам сказала? Что было? Ничего не было. Она позвонила, спросила про давление, я сказала, чтоб она берегла себя, она сказала — мам, всё нормально. И попрощались.

Вы поймите, у нас с ней не было скандалов. У нас вообще, за всю жизнь, может, три раза. Я на её голос не поднимала с шестого класса.

Двадцатого — четверг. Про четверг я не знаю. Она не звонила, но она и не должна была, у нас же уговор: пятница.

Что? Какой паром?

Ну, может, и ездила. Там же от них служба и на тот берег выезжает, в Заречье. Я не знаю, я в их расписания не лезла. Я и не спрашивала никогда, где она, вы поймите — они же не имеют права рассказывать, у них тайна, у них всё серьёзно, у них даже адреса нельзя. Я один раз спросила, к кому она ездит, а она говорит: мам, я не могу. Я говорю: ну хоть имя. Она говорит: мам.

И всё. И я больше не спрашивала.

Двадцать первого — пятница.

Она позвонила в девять. В девять или около девяти, потому что у меня уже началось, я звук убавила и с телефоном на кухню ушла, я всегда на кухню ухожу, чтоб ему не мешать, он в комнате телевизор смотрит.

Она сказала, что всё хорошо. Что поела. Что у неё смена. Я спросила, как учёба, она сказала — мам, сессия в январе, чего ты сейчас. Я спросила, тепло ли она одета, потому что ветер был, вы помните, какой в пятницу ветер был? У нас на балконе вешалку сорвало.

Она засмеялась и сказала: мам, я в пуховике.

Она не в пуховике.

Вы же сами говорили, там куртка была, короткая. Она в куртке была, я знаю в какой, она у неё синяя такая, с капюшоном, она её осенью купила на рынке за девятьсот, и я ей сказала, что это несерьёзно, что это на рыбьем меху, а она сказала — мам, зато лёгкая.

Значит, она мне сказала про пуховик, чтоб я не волнова-

лась.

Вот она вся в этом. Вот она вся, понимаете?

...

Нет. Я не помню, чтобы она звонила позже. Я легла в одиннадцать. Я в субботу проснулась и подумала — надо ей позвонить, и не позвонила, потому что суббота, она отсыпается, я не хотела будить.

И в воскресенье не дозвонилась.

И в воскресенье пошла и написала заявление, и мне там девочка сказала, что трое суток, что надо трое суток ждать, и я ей сказала: девушка, какие трое суток, у меня ребёнок.

...

Вы извините. Я сейчас.

Это подоконник, его не открыть, он разбух, тут рама деревянная, надо менять, Витя всё собирается.

Я, знаете, что вам скажу. Я её комнату каждый день. Пыль, постель в среду перестилаю, окно раз в месяц. Я вот смотрю — тут пылинки, вот тут, на полке, видите, против света? Это за сутки. За одни сутки столько нападало. Откуда оно берётся, никто мне объяснить не может.

Вот её кружка, она из неё пьёт, я её не убираю в шкаф.

Вот расчёска, и вот тут волос, вы видите? Я его не вынимаю.

Вот духи, они у неё стоят с выпускного, она ими ни разу не пользовалась, они ей нравились запахом, но она говорит, что жалко тратить.

Вот тапочки, байковые, я вам говорила.

Я, знаете, когда мне сказали в понедельник, я первое, что сделала — я пришла сюда и начала убирать. Не плакать, нет. Я пришла и вытерла пыль. Витя стоял в дверях и смотрел, как я вытираю, и молчал. Он всё время молчит, он девять лет молчит, я иногда думаю — а он вообще думает что-нибудь?

Он её любил.

Он ей колесо на велосипеде чинил, когда она в четырнадцать лет упала с этой горки, он его потом переварил весь, и она на нём ещё три года ездила. Они с ним вдвоём в гараже сидели, и она ему что-то говорила, а он молчал, и ей, видимо, так нормально было. Мне вот так нормально не было никогда.

Вы что-то спросили?

А. Нет, не заходила. Двадцать первого не заходила. Она в тот день не приезжала. Я бы знала.

А что?

Ну, соседка могла что угодно сказать, она у нас с третьего этажа, она телевизор в полвторого ночи смотрит и утверждает, что у неё слух как у собаки. Она в прошлом году говорила, что у нас в подъезде притон.

Нет, она не заходила.

Ну потому что если бы она заходила, то у меня бы пакет был. Она когда заходит, она всегда что-нибудь оставляет — то кружку, то заколку, то пакет с грязным. У меня бы след остался. У меня следа нет.

Вы вот это смотрите, что ли? Да, это её. Это коробочка, тут кассеты. Она диктофон таскала, японский, ей его бабушка ещё покупала, он старый совсем, с кнопкой западающей. Вон, видите, батарейки рассыпью.

Зачем — не знаю. Она музыку писала, наверно, с радио. Она в школе писала.

Нет, она мне ничего не давала слушать. Мне — нет.

Вы у них там спросите, в фонде. Они, наверное, знают.

...

Вот. Вот это возьмите, я как раз хотела.

Это из института. Пришло, я не помню когда, в сентябре, кажется, или в конце августа. Я не вскрывала, я чужие письма не вскрываю, даже её. Это вызов на сессию, у них всегда так, они заранее шлют, бумажка с печатью, я помню, в позапрошлом году такая же приходила.

Вы ей отдайте.

...

Я не то сказала.

Я хотела сказать — вы приобщите. Вы же там приобщаете, к делу. Приобщите.

Что ж вы молчите-то.

Вы посмотрите на этот конверт и скажите мне, женщина: почему он такой тонкий? В позапрошлом году там три листа было, и квитанция, и расписание. А тут — вы на просвет посмотрите. Тут один лист.

## Глава 5. Путевой лист

Бокс номер шесть бывшего АТП-3 не отапливался с двухтысячного года, и внутри было холоднее, чем на улице, потому что на улице хотя бы ходил ветер, а здесь стоял ровный подвальный холод, поднимавшийся от смотровой ямы, как из открытого колодца.

Тарасенко шёл по бетону, держа руки в карманах, и считал шаги до тепловой пушки. Двадцать два шага. Пушка гудела у верстака и гнала в одну сторону струю воздуха, и в этой струе плясала пыль, и всё, что находилось вне струи, к теплу отношения не имело.

Голова у него была нехорошая.

Не болела — это было бы честно, это было бы даже приятно; голова была стеклянная, чуть-чуть звенящая на поворотах, и во рту стоял вкус, который он с сентября знал уже так же хорошо, как вкус зубной пасты. Он с утра съел две мятные конфеты и выпил бутылку минеральной у ларька, стоя, и не помогло ни то ни другое.

— Геннадий Иванович?

— Тут я.

Кубрин сидел на корточках у левого переднего колеса «газели» и что-то крутил маленьким ключом. Он был в ватных штанах и бушлате, поверх бушлата — рабочий жилет, и шапка на нём была надвинута до бровей. Рядом на перевёрнутом

ящике стоял термос — старый, китайский, в клетчатом чехле, с отбитой эмалью на крышке.

— Тарасенко, уголовный розыск. Я вам звонил.

— Звонили.

Кубрин докрутил, что крутил, вытер руки о тряпку, повесил тряпку на зеркало и выпрямился. Лицо у него было плоское, красное от холода, с белёсыми короткими ресницами.

— Вы по Вере.

— Ну. По ней.

— Чаю будете?

— Не, я это... — Тарасенко похлопал себя по карману.

— Я после.

— Будете, — сказал Кубрин и налил в крышку.

Чай был крепкий, горячий и отдавал термосом. Тарасенко выпил и почувствовал, как внутри на секунду стало нормально, и обрадовался этой секунде, и потерял её.

— Хороший чай.

— Обыкновенный.

Он огляделся. Бокс был на две машины, но стояла одна — «газель», белая, с жёлтыми ладонями на бортах и надписью, сделанной по трафарету. Вторая половина была занята железом: бочки, покрышки, стеллаж с промасленными коробками, свёрнутые в рулон куски линолеума. В углу — раскладушка, накрытая старым пледом, и на раскладушке ватник.

— Вы тут ночуете, что ли?

— Когда как, — сказал Кубрин. — Зимой сорок минут

прогреть. Проще с вечера приехать.

— Сорок минут?

— Сорок. Ну, если ниже десяти. — Он посмотрел на Тарасенко и, видимо, что-то решил про него. — Вы садитесь. Вон стул. У него ножка, вы на неё не давите.

Тарасенко сел, не снимая куртки. На верстаке лежала стопка бумаг, прижатая торцовой головкой на двадцать два, и рядом — пачка сигарет, и зажигалка.

Он заметил зажигалку и сразу, машинально, отвернулся от неё.

— Короче, Геннадий Иванович. Я вам сейчас объясню по-простому. У нас есть девочка. У нас есть док. Между девочкой и доком — три с половиной километра и что-то, на чём её туда привезли. Понимаете, да?

— Понимаю.

— А у вас машина. У вас единственная машина в этой вашей конторе, которая ездит по ночам, у которой кузов и которая никому не интересна, потому что она с ладошками. Её ни один гаишник в жизни не остановит.

— Не остановит, — согласился Кубрин.

— Ну.

— Что «ну»?

Тарасенко засмеялся, потому что так было проще.

— Да я же не говорю, что вы. Я говорю, что мне надо посмотреть.

— Смотрите.

Кубрин достал из-за козырька над верстаком картонную папку на завязках, положил перед ним и отошёл на два шага, и встал, и больше не подходил. Он закурил — левой рукой, и держал сигарету в левой, а правую сунул в карман, — и стоял, глядя в открытые ворота бокса, где в сером квадрате шёл мелкий снег.

Путевые листы были формы третьей, старые, ещё советского образца бланки, где в графе «Марка автомобиля» от руки писалось «ГАЗ-2705». Заполнял их один и тот же человек одним и тем же почерком — прямым, крупным, с раздельными буквами, как пишут чертёжники.

Тарасенко разложил ноябрь веером.

— Вы сами пишете?

— Сам.

— И диспетчер у вас сам?

— И диспетчер сам, — сказал Кубрин. — У нас штата нет. У нас я, машина и бумажки.

Числа шли аккуратно. Выезд, возврат, показания спидометра на выезде, показания на возврате, маршрут: «Речников 12 — Кирова 38 — база»; «база — Заречный паром — Садовая 7 — база»; «Лесная 4 — больница №2 — Лесная 4 — база». Пробег за смену: двадцать два, восемнадцать, тридцать один, двадцать шесть.

Тарасенко листал и чувствовал, как из-под пальцев поднимается запах — бумаги, солярки и ещё чего-то сладковатого, аптечного, которым была пропитана вся эта папка.

Восемнадцатое ноября: двадцать четыре километра.

Девятнадцатое: двадцать.

Двадцатое: тридцать три, и в маршруте два раза «паром».

Двадцать первое.

Он положил лист отдельно и разгладил ладонью.

Выезд — восемнадцать ноль-ноль. Возврат — двадцать три сорок. Маршрут: «база — Речников 12 — Кирова 38 — Садовая 7 — база». Показания спидометра при выезде: 214 380. При возврате: 214 428.

Сорок восемь километров.

Тарасенко посчитал по маршруту в уме, потом на полях карандашом. Речников — четыре. Кирова — ещё три. Садовая — семь с чем-то, и обратно на базу шесть. Ну пусть двадцать пять. Пусть двадцать восемь с петлями, с разворотами, с объездом Портовой, которую в ноябре опять перекопали.

— Геннадий Иванович.

— Да.

— У вас тут за двадцать первое сорок восемь километров.

— Значит, сорок восемь.

— А по маршруту двадцать пять.

Кубрин не обернулся.

— Двадцать восемь, — сказал он. — Через Портовую нельзя, там траншея. Мы кругом ездим, через Заводскую.

— Ладно, двадцать восемь. — Тарасенко постучал карандашом. — Остаётся двадцать.

— Остаётся.

— И вот тут дальше интересно. Смотрите. — Он выдернул следующий лист. — Двадцать второе. Выезд в девять утра. Показания при выезде — четырнадцать шестьдесят восемь. А вчера вечером вы вернулись с четырьмястами двадцатью восемью.

Пауза. Пушка гудела.

— Сорок километров, — сказал Тарасенко. — Между тем, как вы поставили машину в двадцать три сорок, и тем, как вы сели в неё утром, она проехала сорок километров.

Кубрин наконец обернулся. Он докурил до фильтра, посмотрел, куда бросить, не нашёл и затушил о подошву, и окурок убрал в карман.

— Я вам скажу, — произнёс он. — Я, наверно, ошибся.

— Где ошиблись?

— В цифре. Я их вечером пишу, в темноте, у меня в кабине лампочка не горит, я с фонариком. Восьмёрку с нулём мог, шестёрку с восьмёркой мог. — Он помолчал. — Я тридцать лет пишу. Я и раньше ошибался.

— Часто?

— Бывает.

— А тут два листа. Тут вечером одна цифра, а утром другая, и обе ваши, и обе не сходятся ровно на сорок. — Тарасенко положил листы рядом, как карты. — Чтоб так ошибиться, надо ошибиться дважды и в одну сторону.

Кубрин посмотрел на листы издали, не подходя.

— Может, и дважды, — сказал он.

— Вот меня это и смущает, Геннадий Иванович. Что вы не спорите.

— А чего мне спорить.

Тарасенко откинулся, и стул под ним качнулся на больной ножке.

— Ключи у кого?

— У меня.

— Вторые?

— В сторожке висят. На гвозде, в ящике. — Кубрин сказал это без всякого выражения. — Там ящик такой, фанерный, с крючками. Там от бокса, от машины, от склада, от калитки.

— Запирается?

— Ящик?

— Ящик.

— Нет, — сказал Кубрин.

Тарасенко засмеялся. Смех вышел короткий и какой-то не свой.

— Ну, то есть машину мог взять кто угодно.

— Кто угодно не мог, — сказал Кубрин. — Кто угодно не знает, что она тут стоит и что ящик в сторожке. А наши знают все.

— Сколько «ваших»?

— Сорок человек. — Он подумал. — Сорок с небольшим.

*В курилке АТП про эту контору говорили так : возят стариков, платят мало, машина одна, а работы — как у*

*скорой . Говорили, что там при покойниках ночуют . Говорили, что один раз возили в декабре бабушку по трассе сто двадцать вёрст , потому что сын захотел хоронить в деревне , и что фонд оплатил бензин . Говорили: святые люди . Говорили это , ни разу не заглянув внутрь бокса номер шесть, потому что туда никто не заглядывал : там пахло .*

— Геннадий Иванович, а вы в ту ночь где были?

— Дома. Спал.

— Кто подтвердит?

Кубрин посмотрел на него.

— Никто, — сказал он.

— Совсем никто?

— Я один живу. — Он поправил шапку. — Жена умерла в две тысячи первом.

Тарасенко кивнул и что-то записал, чтобы не смотреть на него в эту секунду.

— Соболезную.

— Семь лет прошло.

— Ну всё равно.

— Она дома умерла, — сказал Кубрин. — Я её одиннадцать месяцев один тянул, дома, вон там, на Заводской, мы на втором этаже жили. Тогда не было ещё никаких фондов. Тогда ничего не было. Приходила участковая медсестра раз в неделю, и всё.

Он сказал это ровно, как говорят про ремонт крыши, и

Тарасенко вдруг обнаружил, что ему неприятно. Не жалко — именно неприятно, физически, как от скрипа железа по стеклу. Он не сразу понял почему, а потом понял: слово.

За три дня он слышал десятки разговоров в этой конторе, и там никто, ни один человек, не сказал «умер». Там говорили «ушёл», «его не стало», «всё было тихо», «мы были рядом». Там и про Веру говорили «мы её потеряли». А этот сказал «умерла» — просто, буднично, первым же словом, как сказал бы «сломалась» или «закончилась», и от этого в холодном боксе стало ещё на два градуса холоднее.

— Вы поэтому туда пошли? — спросил Тарасенко. — После жены?

Кубрин подумал.

— Не знаю, — сказал он. — Я объяснить не могу. Меня уже спрашивали.

— Кто спрашивал?

— Вера и спрашивала.

Тарасенко перестал писать.

— Когда?

— Да месяца полтора назад. Мы с ней на Садовую ездили, стояли потом во дворе, она в кабину села, чтоб не мёрзнуть. И спросила. — Кубрин потёр ладонью о ладонь. — Она вообще спрашивала. Она у всех спрашивала. Вот у меня за семь лет никто не спросил ни разу, а она спросила.

— И вы что?

— Я сказал, что не знаю.

— А она?

— А она сказала: а вы подумайте. — Он усмехнулся уголком рта, и усмешка сразу ушла. — Ну вот я теперь думаю.

Тарасенко собрал листы в стопку, подровнял о верстак.

— Я их заберу.

— Забирайте. Мне расписку.

— Дам расписку.

Он писал расписку, положив бланк на колено, и почерк у него полз, и он два раза переписывал слово «путевые». Пальцы были холодные и чужие. Он подышал на них и подумал, что надо бы поесть.

И тут Кубрин сказал:

— Сумку не нашли?

Тарасенко поднял голову.

— Какую сумку?

— Её. Синюю. Она через плечо носила.

— А вы откуда про сумку знаете?

— Так она в ней термос возила, — сказал Кубрин. — Я ей термос отдал свой, старый, у меня два. Она его в сумке таскала.

— Нет. Не нашли.

Кубрин кивнул и отвернулся, и стоял так, глядя в снег за воротами, дольше, чем требовалось для этого кивка.

— Вы, если найдёте, — сказал он, — вы посмотрите, что там внутри.

— В смысле?

— В прямом.

— Геннадий Иванович. — Тарасенко встал, и стул опять качнулся. — Вы мне сейчас что-то хотите сказать?

Кубрин повернулся, и лицо у него было такое же плоское и красное, и совершенно закрытое.

— Я ничего не знаю, — сказал он. — Я знаю только, что машина проехала сорок километров.

— Вы же говорили — ошиблись.

— Я говорил, что, наверно, ошибся.

Он сказал это и пошёл к «газели», и открыл задние двери, и стал греметь там чем-то, и Тарасенко пошёл за ним просто потому, что разговор явно кончился, а уходить было рано.

В кузове было пусто и чисто. Носилки стояли на боку, пристёгнутые. Пол был застелен рифлёной резиной — новой, чёрной, ещё блестящей, с ровными краями по размеру, и от неё крепко и свежо пахло резиной.

— Коврик новый?

— Новый.

— Когда стелили?

— В понедельник. — Кубрин подтянул ремень на носилках. — Старый порвался.

— Порвался?

— Ну. Носилками. У них ножка металлическая, она за год протирает. Я их два раза в год меняю, у меня и чек есть, если надо.

Тарасенко заглянул внутрь. Резина была уложена внахлёт

к порогу, и под порогом, в щели, в уголке, где металл сходился, лежала тонкая полоска чего-то сухого и светлого, спресованного — не то опилки, не то войлок.

Он хотел сказать про это.

Он почти сказал. Он открыл рот и в этот момент подумал совсем о другом — о том, что в ночь с двадцать первого на двадцать второе он сам был на дежурстве, и что в журнале за ту ночь есть его смена, и что он до сих пор не может вспомнить из этой смены ничего, кроме того, как стоял в туалете отдела и держался рукой за стену.

— Слышь, Гена, — сказал он вместо этого. — А старый коврик где?

— Да вон.

В углу бокса, между бочкой и стеллажом, стоял, прислонённый к стене, туго свёрнутый рулон чёрной резины, перехваченный проволокой.

— Не выбросили?

— А чего выбрасывать. — Кубрин захлопнул одну створку. — Его в порт заберут. У них там ветошь собирают, всё берут, и резину берут, под ноги стелить в цеху. Они за ним сегодня приедут.

Во дворе посигналили.

— Вот и приехали, — сказал Кубрин.

Он пошёл открывать ворота шире, и в бокс задом въехала бортовая «шестьдесят шестая», и из неё вылезли двое в жёлтых портовых жилетах, и один из них, не здороваясь, прошёл

прямо к углу, взял свёрнутый рулон за проволоку, крякнул и понёс к машине.

— Мужики, — сказал Тарасенко.

Они обернулись.

Он постоял.

— Ничего, — сказал он. — Нормально. Езжайте.

Рулон закинули в кузов. Он упал плашмя, глухо, и от удара из него вылетело облачко светлой сухой пыли, и это облачко медленно прошло через полосу света от тепловой пушки и осело на бетон.

Машина выехала. Кубрин закрыл ворота.

Тарасенко стоял, держа под мышкой папку с путевыми листами, и в блокноте у него было написано одно: «40 км». Он посмотрел на эту запись, подчеркнул её дважды и почему-то вдруг понял, что делает это левой рукой, потому что в правой у него зажата чужая зажигалка с верстака.

## Глава 6. Нет

Дом тридцать восемь по улице Кирова был из тех, где подъездная дверь закрывается сама, но не защёлкивается, и её приходится дотягивать рукой, и все жильцы знают, что её надо дотягивать, и никто не дотягивает.

Гощина поднялась на пятый. Лифт работал, но она пошла пешком — не из принципа, а потому что хотела посмотреть лестницу.

Лестница была обыкновенная. Крашенные суриком перила, окурки на подоконниках между этажами, на площадке третьего — детский велосипед, пристёгнутый тросиком к батарее. Между четвёртым и пятым лампочка не горела, и тут было почти темно; свет доходил снизу и сверху, а в середине пролёта стояла полоса темноты шириной метра в три.

Она остановилась в этой полосе и постояла. Снизу было слышно, как кто-то моет посуду. Сверху — телевизор. Ни одного глазка, выходящего на этот пролёт.

Квартира сорок четыре была не опечатана. Опечатывать её не было основания: заявленное происшествие по этому адресу — острое нарушение мозгового кровообращения у гражданки Авериной Н. П., 1929 г. р., вызов скорой помощи, госпитализация. Никакого преступления здесь не значилось.

Ключ дала соседка. Ключ был один, старый, с бороздкой, на кольце вместе с алюминиевой биркой, на которой чер-

нилами, полустёртыми, но разборчивыми, было выведено: «44».

— Вы обувь не снимайте, — сказала Шамова. — Там и так теперь... ну, вы понимаете.

Лидия Шамова была маленькая, крепкая, в вязаной кофте и домашних брюках, с короткой седой стрижкой. Она стояла на пороге, не входя, и держалась за косяк.

— А вы не зайдёте?

— Я туда не хожу, — сказала Шамова. — Я туда ходила при ней. А одна я не хожу, это же чужое.

— Вы ключ у себя держите?

— Второй год. Она сама мне дала. Она говорит: Лида, если я не отзовусь, ты входи.

В квартире стоял холод и запах. Не тот, который был на Речников, — тот был живой и работающий. Здесь запах уже осел, разложился на составные части и разошёлся по углам: лекарства, старая мебель, пыль на горячих батареях, что-то прокисшее в ведре под раковиной.

Гощина прошла по коридору, включая свет во всех комнатах.

Двушка. Обои в цветочек, семидесятых годов, поверх них в одном месте приклеена новая полоса — не в тон. Книжные полки, забитые в два ряда: учебники, синие тома, подписные издания, корешки с матерчатой наклейкой на уголке. На стене — фотография мужчины в пиджаке с орденой планкой, вставленная в рамку с траурным уголком, и цветная, поно-

вее: женщина лет пятидесяти у доски, вполоборота, с указкой, смеётся.

На кухне на подоконнике стояла трёхлитровая банка, в банке — вода, в воде — луковица, пустившая длинные зелёные стрелы, уже полёгшие от собственной длины и упиравшиеся в стекло. Вода была мутная, но не протухшая. Луковица была живая.

Гощина отметила её и прошла дальше.

Комната больной: кровать, придвинутая к стене, с поднятым бортиком из свёрнутого одеяла. Клеёнка. Постель сдёрнута и лежит комом у изножья — так, как её оставляет скорая. Подушка на полу. На тумбочке аккуратным рядом — блистеры, пузырьёк, стакан, накрытый марлей, и тетрадь в клеточку, закрытая, с ручкой вверх. Возле кровати — кислородный концентратор, выключенный.

Телефон стоял на полу.

Аппарат был старый, дисковый, кремового цвета, с толстым витым шнуром, и стоял он не на тумбочке, где ему полагалось по всему устройству комнаты (на тумбочке было чистое прямоугольное место без пыли, точно по размеру аппарата), а на полу у кровати, развернувшись боком. Шнур был вытянут во всю длину, перекручен и натянут.

Трубка лежала рядом, на ковре.

Гощина присела. Постояла на корточках. Протянула руку и, не касаясь, померила ладонью расстояние от края кровати до трубки: сантиметров сорок. Дотянуться с кровати можно.

Упав с кровати — тоже можно.

— Лидия Васильевна!

Шамова появилась в дверях коридора, по-прежнему не переступая порога комнаты.

— Кто вызвал скорую?

— Я.

— Во сколько?

— В восьмом часу утра. Я собаку вывела, поднялась обратно, а у неё дверь. — Шамова помолчала. — Дверь была не заперта.

— Приоткрыта?

— Нет. Прикрыта, но не заперта. Я потянула, а она пошла.

— Вы всегда по утрам к ней поднимались?

— Не всегда. Через день. — Шамова поправила кофту на груди. — Я вам сразу скажу: я бы и в тот день не пошла, если б не собака. Собака к двери потащила.

Гощина записала: «дверь не заперта; замок без повреждений; вызов 06.55; заявитель Шамова Л. В.».

— Ночью вы ничего не слышали?

Пауза у Шамовой была не как у всех. Она не молчала — она набирала воздух.

— Я вам сразу скажу, — начала она, — я сплю плохо. У меня давление, я сплю до двух и потом лежу. И я слышала лифт.

— Во сколько?

— Ну, поздно. Ночью.

— Точнее.

— Я на часы не смотрела, милая моя, я ж не знала. — Шамова обиженно повела плечом. — Поздно. Потом ещё раз. Потом я в глазок глянула, а там уже никого, только мужчина спиной.

— Спиной?

— Ну. Уходил. В куртке такой, тёмной, с капюшоном. Высокий.

— Насколько высокий?

— Ну... нормальный. Выше вас.

— Вы видели его на своём этаже или на лестнице?

— На лестнице, сверху шёл. — Шамова подумала. — Или снизу. Он мимо прошёл, я в глазок вижу только вот так, кусок.

Гощина записала и это, слово в слово, и поставила рядом дату и время записи. Такие показания она умела оценивать с точностью до полугода: через неделю в этом рассказе появится сумка, через две — характерная походка, через три — лицо.

— С Ниной Петровной вы давно знакомы?

— Одиннадцать лет. — Тут голос у Шамовой изменился, стал проще. — Она меня русскому учила. Не в школе, я школу давно, я в автоколонне сорок лет. Она меня письма писать учила, когда я в собес судилась. Она мне на кухне за два вечера объяснила то, чего я за жизнь не поняла.

— Какая она?

— Прямая, — сказала Шамова, не задумавшись. — Прямая, как рельса. У неё «не знаю» не бывает. Она если чего решила — всё.

— Например?

— Ну например. — Шамова перекатила губами. — Она сына к себе не вызывает. Он в Мурманске. Он раз в год ездит, а она ему звонит и говорит: у меня всё хорошо. Я говорю: Нина, ты с ума сошла, у тебя четвёртая стадия. А она мне: Лида, ему сорок восемь лет, у него своя жизнь, я не имею права.

— «Не имею права», — повторила Гощина.

— Слово в слово.

На обратном пути Гощина заглянула в ванную. Полотенце на крючке было одно, махровое, розовое, сухое. Второй крючок пустовал.

Неврологическое отделение второй городской занимало третий этаж, и лежащих там было больше, чем палат, поэтому четыре койки стояли в коридоре, вдоль стены, между процедурной и постом. Проходя, Гощина посчитала: четыре койки, три занятые, одна пустая и застеленная. Пахло мочой, хлоркой поверх мочи, варёной курицей из кухни в конце коридора и апельсиновой коркой — где-то в палате чистили мандарин.

Врач, Голубева, женщина лет пятидесяти с короткой химией, говорила быстро и на ходу, и всё время смотрела не на неё, а вперёд по коридору.

— Поступила двадцать второго в семь пятьдесят. Обширный, левое полушарие, бассейн средней мозговой. Тотальная моторная афазия.

— Переведите.

— Она не говорит. Совсем. Речевой выход разрушен.

— А понимает?

Голубева остановилась.

— Понимает, — сказала она. — Вот тут и беда. Сенсорно она сохранна, и интеллект сохранен, и, судя по всему, полностью. Она всё слышит, всё понимает и всё оценивает. Она просто не может ничего сказать.

— Писать?

— Правая рука парализована. Левой она не пишет, мы пробовали. — Врач пошла дальше. — И карточки пробовали, и алфавит. Не выходит. Она не может ни выбрать, ни показать. Это не упрямство, это нарушение.

— Совсем ничего?

— У неё сохранилось одно слово. — Голубева открыла дверь в ординаторскую, поискала на столе карту, нашла. — Бывает. Остаётся какой-нибудь автоматизм — иногда ругательство, иногда имя, иногда счёт. У неё — «нет».

— И всё?

— И всё.

Гощина посмотрела на карту, которую ей протянули. Почерк был врачебный, но разборчивый.

— Здесь написано: «при поступлении — угнетение созна-

ния, миоз».

— Ну да.

— Что это значит?

— Зрачки точечные. — Голубева пожала плечами. — Она на морфине. У неё назначение с сентября, паллиативное, она онкологическая. Там всё в карте есть, и доза, и кто назначал.

— То есть это нормально.

— Это ожидаемо, — сказала Голубева. — Это у всех наших такое.

Гощина переписала в блокнот две строчки и подчеркнула слово «миоз», не зная зачем.

Палата была на четверых. Аверину положили у окна.

Она была очень маленькая — меньше, чем Гощина ожидала по фотографии у доски. Волосы белые, коротко остриженные уже здесь, в больнице, неровно. Правая половина лица опущена, и от этого одна сторона казалась спящей, а другая бодрствующей. Глаза были открыты.

Левой рукой она держала край одеяла. Держала всей кистью, собрав пододеяльник в горсть, и Гощина, подойдя, увидела, что ткань в этом месте вытянута и истёрта — значит, держит давно и постоянно.

— Здравствуйте, Нина Петровна.

Глаза перешли на неё. Перешли быстро, точно, и остановились, и это был не взгляд больного и не взгляд старухи. Это был взгляд человека, который смотрит на вошедшего и решает, кто это.

— Меня зовут Ирина Сергеевна Гощина. Я следователь. Взгляд не дрогнул.

Гощина придвинула табурет и села так, чтобы быть на уровне её глаз, а не над ней.

— Вам удобно?

— Нет, — сказала Аверина.

Голос был тихий, сиплый, совершенно обыкновенный. Она произнесла это не как больная — как женщина, которую спросили о неважном и которая ответила правду.

— Я поправлю подушку?

— Нет.

— Позвать сестру?

— Нет.

Гощина помолчала.

— Нина Петровна, вы меня понимаете?

— Нет.

Она сказала это с той же ровной интонацией, и в ту же секунду, не отрывая взгляда, чуть-чуть, почти незаметно, подтянула к себе край одеяла — как подтягивают к себе то, что чуть не забрали.

Гощина сидела, положив блокнот на колено, и не писала.

В коридоре громко разговаривали. Кто-то катил каталку, и одно колесо у неё било.

— Я задам вопросы, — сказала Гощина. — Если ответ «да», попробуйте закрыть глаза. Один раз. Если «нет» — не закрывайте.

Аверина смотрела на неё.

— Вас зовут Нина Петровна?

Пауза.

Глаза закрылись и открылись.

У Гощиной внутри дёрнулось — не радость, что-то грубее, похожее на то, как встаёт мотор.

— Сегодня ноябрь?

Глаза закрылись и открылись.

— Сейчас лето?

Пауза. Глаза не закрылись.

— Двадцать первого ноября к вам приходила Вера?

Пауза.

Глаза закрылись и открылись.

— Кто-нибудь ещё приходил в ту ночь?

Пауза.

Долгая.

Аверина моргнула — обыкновенно, произвольно, дважды подряд, так, как моргает любой человек, у которого сохнут глаза.

И потом ещё раз.

И потом закрыла их и не открывала секунд пять.

Гощина ждала, и пока она ждала, ей стало ясно и очень неприятно, что она уже не понимает, где ответ, а где веко.

— Нина Петровна. Ещё раз. Если «да» — закройте глаза один раз, если «нет» — не закрывайте. В ту ночь у вас в квартире был мужчина?

Дверь открылась.

Вошёл санитар — крупный парень в зелёном, с мешком для белья, и сказал громко, весело:

— Кому судно, девочки?

Аверина отвернула голову к стене.

Она сделала это не резко, а плавно и полно — повернула лицо влево, к окну, и опустила веки, и стала совершенно недоступна, и левая рука её сжала одеяло так, что стали видны сухожилия.

Санитар стянул бельё с пустой койки, пошутил с соседкой, вышел.

Гощина просидела ещё двадцать минут. Аверина не повернулась.

— Я приду ещё, — сказала Гощина, вставая.

— Нет, — сказала Аверина, не поворачиваясь.

В восьмом часу вечера Гощина вернулась на Кирова, тридцать восемь: забрать ключ и отдать Шамовой расписку.

Шамова открыла сразу, как будто стояла за дверью, — и, вероятно, стояла.

— Вы поели? — спросила она вместо здравствуйте. — У меня суп.

— Спасибо, нет.

— Ну хоть в коридоре постоит, я вам в баночку.

Из-за её ног вышел пёс.

Он был беспородный, коричневый с проседью на морде, ростом по колено, с висящим ухом и квадратной головой.

Заднюю левую он подставлял неохотно и ставил с задержкой, и от этого шёл, кивая. Он подошёл к Гощиной вплотную, ткнулся носом в колено, отошёл, вернулся, ткнулся ещё раз.

— Буй, отойди. Буй! — Шамова махнула на него полотенцем. — Не бойтесь, он не кусает. Он вообще никого никогда.

— Это Нины Петровны?

— Её. Семь лет ему. Он у меня теперь.

— Как он к людям?

— К людям? — Шамова засмеялась. — Да никак. Всех любит. В том и беда, что всех.

Гощина посмотрела на пса. Пёс посмотрел на неё — снизу, спокойно, ровно.

— Ему тут не место, — сказала Шамова. — Он же привык у себя, а я его к себе, у меня двадцать девять метров и кот. Я его кормлю по будильнику, в семь и в семь, она так велела, я не сбиваюсь. Я ей потом скажу, что не сбивалась.

Она поставила будильник на тумбочку так, чтоб было видно от двери.

— Только он всё равно уходит.

— Куда уходит?

— Да на лестницу. Как вечер — просится, я открою, а он на площадку и к лифту.

Гощина повернулась.

Пёс уже был в дверях. Он вышел на площадку, прошёл мимо лифта, сел напротив его дверей, боком, ровно, поло-

жив лапы вместе, и стал смотреть на щель между створками.

— Он давно так?

— С той ночи, — сказала Шамова. — Каждый день. Я думала, к ней просится, а он не наверх. Он вот тут сидит.

— И сколько сидит?

— Ну, часа полтора. Потом сам приходит.

Гощина посмотрела на часы: девятнадцать двадцать.

— Лидия Васильевна, а во сколько он садится?

Шамова подумала — впервые за весь день по-настоящему, глядя в пол.

— Так вот сейчас и садится, — сказала она. — Всегда в это время. Я по нему ужин ставлю.

Лифт наверху щёлкнул, загудел и пошёл вниз.

Пёс поднялся.

## Глава 7. Четыре часа в машине

Туман пришёл ночью и к утру заполнил всё до высоты третьего этажа.

Гощина вышла из подъезда в семь и не увидела своей машины, хотя та стояла в восьми шагах. Был виден асфальт под ногами, был виден бордюр, дальше начиналось молоко — плотное, неподвижное, пахнущее рекой и почему-то мокрым бельём. Она пошла на память, наткнулась ладонью на холодное железо и только тогда поняла, что это не её машина, а соседский «жигуль».

За рекой выл ревун. Он включался в устье, когда видимость падала ниже кабельтова, и выл раз в минуту: низкий, длинный, чуть подрагивающий в конце звук, от которого в груди отзывалось. Люди в Устье говорили, что к нему при-выкаешь. Гощина прожила здесь шесть лет и не привыкла.

Ехала она сорок минут вместо пятнадцати, со скоростью двадцать, включив всё, что включается, и всё равно два раза едва не потеряла дорогу — один раз у трамвайного кольца, где просто перестал существовать поворот, и второй раз на Заводской, где из тумана вышел человек в оранжевом жилете, прошёл в полутора метрах от капота и опять исчез, не повернув головы.

В отделе было холодно и пахло пылью с батарей.

Тарасенко положил ей на стол лист — рапорт, написанный

от руки, с двумя исправлениями.

— Дрёмов. Сторож на платной стоянке, что у проходной со стороны Заводской. — Он сел на край стола, не дожидаясь приглашения. — Я его позавчера опрашивал вместе со всеми, он ничего не сказал. А вчера сам пришёл.

— Почему вчера?

— Потому что позавчера я спрашивал про чужих, а он вспомнил про знакомых. — Тарасенко пожал плечами. — Он машину знает. Она у него на стоянке зимой стояла, в прошлом году, два месяца. «Шестёрка», бежевая, с чёрным крылом.

Гощина читала.

«...двадцать первого ноября около семи вечера указанная автомашина встала на обочине напротив ворот, вне территории стоянки, водитель из машины не выходил, двигатель периодически заводился, около одиннадцати вечера автомашина уехала...»

— Он уверен по времени?

— По времени — да. У него смена с семи, он её увидел, когда принимал будку. И уехала она, когда он чайник ставил, а чайник он ставит в одиннадцать, потому что в одиннадцать по телевизору начинается.

— Что начинается?

— Да какая разница, Ирина Сергеевна.

— Большая. — Она подняла голову. — Если он помнит название, он помнит время. Если он не помнит название, он

помнит привычку, а привычка сдвигается на полчаса в любую сторону.

Тарасенко подумал.

— Я спрошу, — сказал он.

— Спросите. — Она перевернула лист. — Расстояние от этого места до дока?

— Триста метров. Триста двадцать по прямой. Если пешком вдоль забора и через дыру в бетонке, то минуты четыре.

— Про дыру откуда знаете?

— Так я сам через неё в детстве лазил, — сказал Тарасенко. — Там все лазили.

Она съездила туда в десять.

Место нашлось сразу: обочина между воротами и трансформаторной будкой, где асфальт продавлен и всегда стоит вода, а сейчас вода была затянута ледяной коркой и корка была раздавлена колёсами. Гощина поставила машину примерно там же, заглушила двигатель и осталась сидеть.

Через минуту стекло запотело изнутри. Она протёрла ладонью.

Смотреть было не на что.

Туман стоял стеной в трёх метрах от капота. Ворота угадывались по жёлтому пятну лампы над ними. Справа, где должны были быть корпуса, не угадывалось ничего. Она знала, что за забором, в полутора сотнях метров, стоит кран-балка, а дальше — док, и что из этой точки при нормальной погоде видно верхний край его борта и ничего больше; но

сейчас нельзя было проверить и этого.

Она просидела десять минут, чтобы понять, каково это.

Было холодно. Было слышно, как капает с проводов. Было слышно ревун. Мимо прошли, разговаривая, двое, и голоса были отчётливые, будто в комнате, а самих людей она не увидела. Потом кто-то далеко уронил лист железа.

Через десять минут ей стало не по себе — не страшно, а как-то физически неуютно, как в лифте, который встал. Она завела мотор.

Четыре часа, подумала она. Здесь. Не выходя.

Лапина привезли в двенадцать сорок, с завода, прямо из цеха — он был в спецовке и сначала попросил разрешения переодеться, и ему разрешили, и он переделся, и это заняло восемь минут, в течение которых Гощина сидела и думала, что человек, которого везут в Следственный комитет, обычно не думает о том, что на нём спецовка.

Он сел, положил руки на колени и стал ждать.

Руки у него были чистые, но чистота была рабочая: ногти подстрижены коротко и под ними всё равно темно, и на тыльной стороне левой — старый белый шрам через два сустава. Он сцепил пальцы, потом расцепил и положил ладони отдельно.

— Виктор Николаевич, в понедельник я спрашивала, где вы были двадцать первого вечером. Вы сказали: дома. Потом сказали: ездил. Потом сказали, что скажете потом.

Он кивнул.

— Сейчас потом, — сказала Гощина.

Пауза.

— Я стоял, — сказал он.

— Где?

— На Заводской. У проходной.

— С какого времени?

Пауза.

— С семи. — Он подумал. — Может, без десяти.

— До которого?

— До одиннадцати.

Она записала. Он смотрел, как она пишет, и не торопил.

— Зачем?

Пауза была длинной. Гощина, не поднимая головы, отсчитала про себя: раз, два, три, четыре.

— Не знаю, — сказал Лапин.

— Вы с кем-то встречались?

— Нет.

— Кого-то ждали?

— Нет.

— Вы заправлялись в восемнадцать сорок на Заводской, семнадцать литров, чек сохранился в бардачке. — Она положила перед ним ксерокопию. — Это по пути. Значит, вы заправились и поехали туда. Значит, вы туда ехали.

— Ехал.

— Зачем?

Четыре секунды.

— Просто.

Гощина отложила ручку.

— Виктор Николаевич, — сказала она. — Я сейчас объясню вам, как это выглядит. В тот вечер, когда убили вашу падчерицу, вы четыре часа сидели в машине в трёхстах метрах от места, где её потом нашли. Вы не можете объяснить зачем. Ваша жена утверждает, что вы были дома.

Он поднял голову.

Это было первое движение за весь разговор, которое что-то значило: он посмотрел на неё прямо, и в глазах у него не было ни страха, ни расчёта, а было что-то вроде вежливого интереса, как у человека, которому сообщили новость о посторонних.

— Она так сказала?

— Да.

Пауза.

— Ну, она ошиблась, — сказал Лапин.

— Вы понимаете, что она вас прикрывает?

— От чего?

Гощина посмотрела на него.

— Хорошо, — сказала она. — Давайте по-другому. Что вы делали четыре часа? Слушали радио?

— У меня приёмник не работает.

— Спали?

— Нет.

— Курили?

— Я не курю.

— Ели?

— Нет.

— Вы выходили из машины?

— Нет.

— В туалет?

Пауза.

— Один раз, — сказал он. — За будку.

— Значит, вы четыре часа сидели в холодной машине в темноте и ничего не делали.

— Я мотор заводил. Грелся.

— Как часто?

— Минут через сорок.

Она записала и это.

— О чём вы думали?

Он молчал — не четыре секунды, а гораздо дольше, и в какой-то момент Гощина поняла, что он не подбирает ответ; он честно пытается вспомнить и не находит.

— Ни о чём, — сказал он наконец.

— Так не бывает.

— Бывает, — сказал Лапин.

Он сказал это спокойно, без нажима, и Гощина вдруг, на секунду, ему поверила — и немедленно отложила эту секунду в сторону, потому что за шестнадцать лет работы твёрдо знала одну вещь: человек, которому веришь без доказательств, потом всегда оказывается или невиновным, или са-

мым виноватым из всех.

Машину он отдал сам, без постановления, написав согласие с первого раза и не спросив, зачем.

«Шестёрка» стояла у отдела, бежевая, с чёрным правым крылом от другой машины, и когда эксперт открыл её, оттуда пахло холодным железом и бензином — и больше ничем.

Гощина стояла рядом и смотрела.

Салон был вымыт. Не «отмыт» — вымыт: коврики вытряхнуты и лежали ровно, торпеда протёрта, в пепельнице (он не курил) лежали две скрепки и гайка. Чехлы старые, но выстиранные. В бардачке: аптечка с непросроченными бинтами, домкратная рукоятка, тряпка, сложенная вчетверо, чеки — пачка, скреплённая канцелярской скрепкой, по датам, за три года.

В багажнике: запаска, накачанная; ключи в брезентовом свёртке, по размерам, от восьмого до двадцать второго; насос; канистра пустая, вымытая; буксировочный трос, смотанный восьмёркой и перехваченный проволокой; полиэтиленовая плёнка, сложенная в квадрат.

— Ирина Сергеевна, — сказал эксперт вполголоса. — Вы это видите?

— Вижу.

— Я двадцать лет машины смотрю. У мужиков в багажнике чёрт-те что. А тут...

— Тут порядок.

— Тут стерильно, — сказал эксперт. — Вот эта плёнка.

Вы понимаете, что у меня в голове, когда я вижу в багажнике плёнку?

— Понимаю.

— И трос.

— И трос, — сказала Гощина.

Она наклонилась и посмотрела на плёнку, не трогая. Плёнка была старая, мутная, с заломами по сгибам, и в заломах — грязь, слежавшаяся, серая, годами. Её складывали и раскладывали много раз и очень давно.

— Возьмите всё, — сказала она. — И смывы. И из-под ковриков тоже.

— Само собой.

— И вот ещё что. — Она выпрямилась. — Он сам отдал машину. Через двадцать минут после того, как я сказала ему, что жена дала ему ложное алиби.

— Ну и?

— Ничего, — сказала Гощина. — Записываю.

К Татьяне она поехала в пятом часу. Темнело, и туман не разошёлся, а только перестал быть белым — стал серым, потом бурым в свете фонарей.

Татьяна открыла в фартуке. В квартире пахло жареным луком.

— Ой. Вы поели? У меня котлеты.

— Татьяна Николаевна, присядьте.

— Да я лучше постою, у меня там...

— Присядьте.

Она села на табурет у стола, не сняв фартук, и сложила руки на коленях, и это была та же поза, что у Лапина, и Гощина отметила, как девять лет жизни рядом делают с людьми такие вещи.

— Двадцать первого ноября ваш муж был дома?

— Был.

— Весь вечер?

— Весь.

— С какого часа?

— Да он с работы приходит в шесть, он в шесть уже дома.

— Татьяна поправила фартук. — Поел, и телевизор.

— Вы это подтверждаете?

— Конечно.

Гощина положила на стол копию чека и копию рапорта Дрёмова, развернув к ней.

Татьяна посмотрела. Читала она долго, шевеля губами, как читают документы люди, которые всю жизнь имели дело с накладными и знают, что в бумаге главное — не смысл, а реквизиты.

— Это не его, — сказала она.

— Его. Он подтвердил сам. Три часа назад.

Тишина.

В комнате работал телевизор — негромко, там кто-то смеялся.

— Ну и что, — сказала Татьяна.

— То есть?

— Ну и что, что стоял. Он всегда где-нибудь стоит. — Она вдруг быстро заговорила, и голос пошёл вверх: — Он в гараже сидит по четыре часа и ничего не делает, я туда приходила, я видела, он сидит на табуретке и смотрит в стену. Что мне, милицию вызывать? Он девять лет так. Он такой человек, он не разговаривает, он молчит и сидит, и что с ним сделаешь?

— Татьяна Николаевна.

— Что?

— Зачем вы сказали, что он был дома?

Татьяна открыла рот и закрыла.

Она встала, подошла к плите, выключила конфорку под сковородой, хотя ничего не горело, и осталась стоять спиной.

— Я не подумала, — сказала она.

— Вы сказали это дважды. В понедельник и сейчас.

— Я не подумала.

— Вы понимаете, что вы сделали? Вы дали ему ложное алиби. Теперь я обязана проверять его в первую очередь. Не потому, что я думаю, что он. А потому, что вы солгали.

Плечи у Татьяны дёрнулись.

— Я боялась, — сказала она.

— Чего?

— Что вы начнёте спрашивать.

— О чём?

Пауза.

— Ни о чём, — сказала Татьяна. — О нас.

Она обернулась. Лицо у неё было мокрое, но не от слёз — от пара над сковородой, она вытирала его тыльной стороной запястья, размазывая.

— Вы поймите, — сказала она. — Придёшь вот так, начнёшь спрашивать, а у нас... У нас же всё нормально. У нас девять лет всё нормально.

Гощина ждала.

— Он её любил, — сказала Татьяна. — Слышите? Он её любил. Он бы её пальцем.

— Я не спрашивала.

— А вы спросите у кого хотите, — сказала Татьяна громко. — Вы у соседей спросите. Он велосипед ей чинил. Они в гараже вдвоём сидели, часами, и он ей что-то там... — Она осеклась и сказала совсем тихо: — Ну, они там сидели.

— О чём они разговаривали?

— Я не знаю.

— Вы не спрашивали?

— У кого? — сказала Татьяна. — У него?

Она усмехнулась, и в этой усмешке впервые за все дни не было ничего кукольного.

Гощина сложила бумаги. В прихожей, надевая пальто, она услышала, как за спиной Татьяна подошла и встала.

— Ирина Сергеевна.

— Да.

— Вы его не трогайте, — сказала Татьяна. — Он не виноват. Это я виновата.

Гощина медленно повернулась.

— В чём?

Татьяна держалась одной рукой за дверь.

— Я её тогда не проводила, — сказала она. — Когда она семнадцатого уезжала. Она с сумкой, а я в халате, я до лифта не вышла. Я ей из двери помахала.

— Татьяна Николаевна.

— Что.

— Это не то, что вы хотели сказать.

Татьяна смотрела на неё секунды три. Потом опустила глаза и начала снимать с вешалки чужую куртку и вешать её обратно — просто чтобы занять руки.

— Вы идите, — сказала она. — Вам там ехать в этом тумане. Вы осторожно, там на кольце не видно ничего.

Дверь закрылась, и Гощина стояла на площадке и слушала, как в квартире щёлкнул замок, потом второй, потом накинули цепочку — три звука подряд, которые она слышала уже сотни раз и которые всегда означали одно и то же: человек за дверью вернулся к тому, от чего его на сорок минут оторвали.

Она спустилась во двор.

Машины видно не было. Фонарь над подъездом стоял в тумане одиноким шаром, и от него шло ровное свечение, ничего не освещавшее.

Возле соседнего подъезда, в этом свечении, стояла бежевая «шестёрка» с чёрным крылом.

Гощина остановилась.

Машина была изъята сегодня в четырнадцать двадцать и стояла на площадке у отдела, опечатанная. Она сама расписывалась в протоколе.

Она подошла ближе.

Это была не «шестёрка». Это была «пятёрка», грязно-белая, вся в разводах, и крыло у неё было своё. В тумане она просто выглядела иначе, а мозг, сорок минут проработавший на одном материале, достроил остальное.

Гощина постояла, положив ладонь на холодный мокрый капот чужой машины, и услышала, как за рекой, ровно через минуту после предыдущего раза, снова завыл ревун.

И подумала: а ведь Дрёмов тоже смотрел через туман.

## Глава 8. Кассета три

*Кассета компакт , тип I, шестьдесят минут . На наклейке шариковой ручкой , прямым круглым почерком : «Н . П. — 3 » . Сторона А. Расшифровка приводится сплошным текстом , с сохранением пауз, оговорок и посторонних шумов .*

*( шипение , двенадцать секунд )*

Так. Ну вот так.

Нина Петровна, сейчас немножко пошипит, вы не пугайтесь, это не поломка, это просто плёнка так, она всегда сначала шипит. Я сама сначала думала — брак, а оно вот так должно.

Это Вера. Здравствуйте.

Сегодня четвёртое, вторник, поздно уже, вы спите. Половина первого. Я на кухне сижу, я дверь притворила, чтоб вас не разбудить, свет не включаю, тут от плиты лампочка горит, маленькая такая, и хватает.

У вас лампочка в коридоре перегорела, я завтра принесу. Не забыть бы. Вот, я вслух сказала, теперь не забуду, у меня так работает: если вслух — то помню.

Чайник поставила. Он у вас громкий, он как самолёт. Вы сейчас его услышите, он через минуту начнёт.

Что вам рассказать.

Погода такая, что лучше не рассказывать. С утра было ни-

чего, а к четырём натянуло, и я на пароме ехала — а он опаздывал, и я стояла на этой палубе, где ветер, потому что внизу мужики курят и там дышать нечем. И вот стою, и меня так продуло, что у меня сейчас правое ухо не слышит. То есть слышит, но как будто через подушку.

Вы бы сказали — надела бы шапку. Я знаю, что вы бы сказали.

Я не надела шапку.

( смеётся )

Я купила шапку, Нина Петровна. Честное слово. Она лежит у меня в комнате на стуле. Она серая, она мне не идёт, у меня в ней лицо как блин, но я её купила. Всё, что вы мне говорили, я делаю, только с опозданием на месяц.

Так, чайник.

( нарастающий шум чайника , тридцать секунд , щелчок )

Всё. Вот такой он у вас.

Сейчас я налью и сяду нормально.

( звон посуды , скрип стула )

Вот. Сажу.

Нина Петровна, у вас там на подоконнике лук пророс. В банке который. Я его не трогала, я не знала, вы его специально или он сам. У него стрелки уже вот такие, он их уже не держит, они легли и в стекло упираются. Я подумала, может, вам его выбросить, а потом подумала — а вдруг вы его специально. Вы скажете завтра, и я сделаю, как вы скажете.

Но он живой. Он вообще единственный тут живой, кроме

нас с вами и Буя.

Буй спит. Он сначала со мной на кухню пришёл и сел вот так, знаете, как он садится — задом на всю ногу, боком, он же не может нормально из-за сустава, — и сидел, смотрел на меня, и я ему ничего не дала, я принципиально, потому что вы сказали не подкармливать. И он тогда встал и ушёл к вам. Он к вам ушёл и лёг у кровати.

Он ложится головой к двери. Всегда. Я заметила.

Ладно.

Ой, я хотела рассказать. Я сегодня видела Ольгу Семёнову — это которая у нас на Садовой, я вам про неё говорила, — и она мне сказала, что у неё внук поступил. И она мне это рассказывала двадцать минут, и я стояла в куртке, у меня руки были заняты, а она рассказывала. И знаете что? Мне не было скучно. Мне вот вообще ни капельки.

Я раньше думала, что я такой человек, которому со всеми скучно.

*(пауза)*

Нина Петровна, я вам должна сказать одну вещь. Я, наверно, дура.

Я маме не позвонила. Четвёртый день. Она мне звонила в субботу, я не взяла, потому что я была на смене, а потом я не перезвонила, потому что... ну потому что.

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.